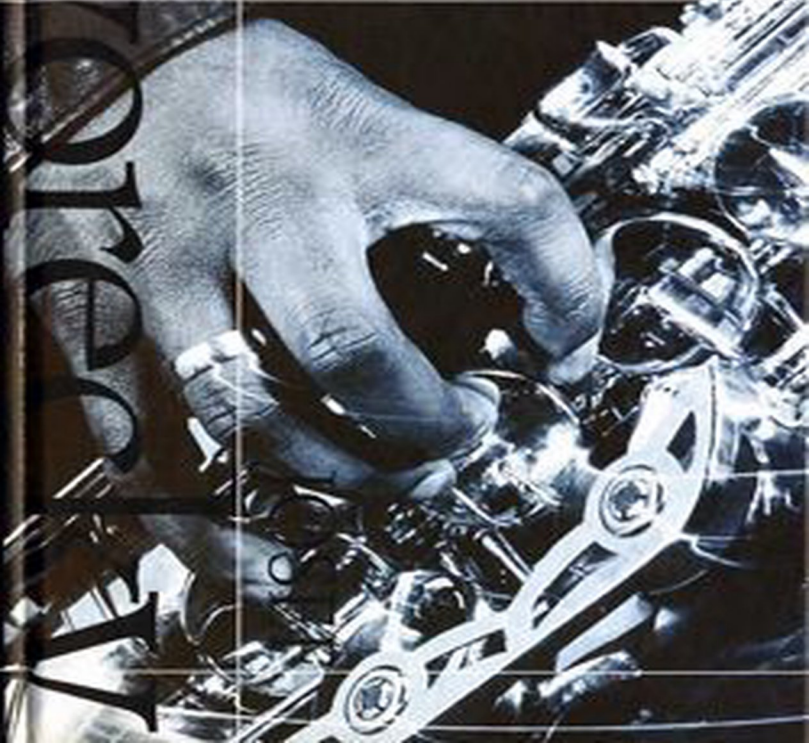
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+1

ЙОЗЕФ ШКВОРЕЦКИЙ

Конец нейлонового века



Конец нейлонового века
Йозеф Шкворецкий

Аннотация
Йозеф Шкворецкий. Конец нейлонового века
Послесловие. Йозеф Шкворецкий – биография несогласного

Аннотация

Йозеф Шкворецкий (р. 1924) – классик современной чешской литературы, прозаик, драматург и музыкальный критик, живущий в Канаде. Сборник «Конец нейлонового века» составлен из самых известных и неоднозначных произведений писателя, созданных в странное и жуткое время между гитлеровской оккупацией Чехии и советским вторжением. Короткий роман Шкворецкого «Бас-саксофон» был признан лучшим литературным произведением всех времен и народов о джазе.

Музыкальная проза Йозефа Шкворецкого – впервые на русском языке.

Йозеф Шкворецкий
Конец нейлонового века

Ладиславу Фикару, Витезславку Коцурку, Иржи Коларжу и Зденеку Урбанку – хотя и не за все можно отблагодарить; и Яну Забрану, с надеждой, что этот текст – страничка из того же дневника. Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного…

Римл. 3, 12

С фотографии за рамой зеркала смотрела не очень выразительная красавица с судорожной улыбкой; в правом уголке, внизу, фиолетовыми чернилами через обнаженное плечо, стояло: «Дорогой Иржке — Нора», а в зеркале отражалась дочь хозяина поместья. Нора, — думала она, — Нора, Норочка, Норочка в свадебной фате у церкви Святого Игнатия. Нора в свадебной фате за тридцать тысяч, Нора Гаусманнова, супруга заведующего отделом министерства иностранных дел. Мужа скоро назначат послом в Ираке, сообщила она своими розовыми губками, мы едем туда весной или же летом, в июне или в июле, — собственно, полетим, — самолетом через Каир. *Praha — Wien — Roma — Cairo*. Дочь помещика кончила закручивать надо лбом узел, а Нора, в лице которой отражалась золотистая риза

патера Нойманна, стояла, как статуя из алебастра: свадебное платье плотно прилегало к телу; огромный золотой крест, опирающийся плечиками о молочные полушария в вырезе платья, интересные глаза будуарной кошки, в которых отражались два ряда свечей в руках ангельски голубых министрантов. Нора, уверенная в себе, Нора, прекрасная, как фантастический сон, с охапкой белых лилий, с элегантным, насмешливо целомудренным миртовым веночком на голове. На скучных лекциях у мадемуазель Лессавер, на задней скамейке, эта ненавистная Нора Гаусманнова шепотом делилась с ней соблазнительными откровениями о молодых людях из *«British Society»*, ибо хорошо знала, что Иржину Кочандрлову целует только дедушка — под омелой в Сочельник, только мать и двоюродные братья. И еще только Нора, Норочка, разумеется. Влажными, мягкими, пахнущими несмываемой помадой губами: милочка, я тебя обожаю, когда поедем с Петром в Персию, ты поедешь с нами. Петр это устроит, поедешь формально как секретарша, и мы все время будем вместе, купим в Каире турецкие шаровары и пойдем смотреть на сераль, на пирамиды, и в Багдаде — всюду-всюду — мы будем вместе. Ах, поцарапать бы ее! Вырыть

на ее лице, словно облитом *skin milk*, незаживающую кровавую борозду. Она представила себе Нору голой, лишь в турецких шароварах; силуэт стройных, округлых бедер в свете сераля, груди — как мраморные полушария под шелком; эту отвратительно безупречную ночную кожу — и рядом с ней себя: шелк, как кожура на двух туго набитых колбасках, — ах, ужасная, ужасная, ненавистная Нора Гаусманнова.

А в душе она ревела, вся розовая и наглаженная и потерянная в суверенном полукруге из тафты и шелка, из смокингов и белых перчаток, под кремовой лепниной церкви Святого Игнация, в ярком пламени свечей; за органом сладко грезил Шуманом концертмейстер и величественно сыпал ноты на головы пары, словно сошедшей на плюшевый коврик перед алтарем с обложки *«Elle»;* «я вопрошаю вас, пани Нора Иоахимова»; потом она расплакалась уже на самом деле, обильными слезами, в старинной поместной спальне, на изъеденном червоточиной ложе, возле бесполезного туалетного столика, среди американских *nail polish* и *lipstick*, среди флаконов *skin milk*, от которых ей не было ровно никакого проку и которые не могли сделать из нее «киношную» Нору, пышущую молодостью, с

ее сметанно-белой кожей повсюду.

Она встала и подошла к окну. Прага лежала в долине под легкой оболочкой мглы, окна праздничнo горели в лучах заходящего солнца, а по шоссе тянулся караван лакированных автомобилей к черным башням за рекой. Дочь хозяина имения в глубоком унынии и на грани отчаяния стояла у маленького окна в толстой стене строения, которое некогда было цитаделью. Вместо сметанной кожи — только розовый шелк, никакой тебе жизни в сметанной коже, разве что три-четыре часа на балу; что же, перетерпеть все это, спокойно раздеться и в постель. Она повернулась и медленно пошла к двери. Ее походка была тяжелой, неэстетичной. Она знала это. Открыла дверь, из темной прихожей просунула голову в кухню:

— Вода готова, мама?

Жена хозяина поместья сидела у окна, задумчиво глядя на ветхую беседку в саду.

— Вода? — переспросила она отрешенно. — Да-да, сейчас будет. Белье уже там, Иржка. И поторопись. Вот-вот придет Сэмик.

— Гм, — произнесла она, открывая дверь в ванную. *Cairo* ! Ванная была размером с небольшую часовню, два окна с матовыми стеклами и

между ними большое зеркало до самого пола. Вода в ванне поблескивала холодом, но в ней уже распускалось медовое солнце. Помещичья дочь подошла к зеркалу. Затем одним движением сбросила халат с плеч и встала обнаженная, перед своим отражением. Прикрыла глаза, чтобы не всматриваться в детали. По телу ее пробежали мурашки до самых кончиков пальцев. Перед глазами появилась вилла Гаусманнов, спальня Норы, Нора и Петр. Он обнимает Нору сзади. На своей же спине она почувствовала прикосновение волосатой мужской груди, на плечах — каменные бицепсы и в желобке между ног — давление возбужденного мужского органа. Она стремительно повернулась, но образ в зеркале остался неизменным: та же неподвижная фигура с прикрытыми глазами в пустой ванной; она увяла в его объятиях, он сжал ее, а она обняла его шею длинными соблазнительными Норины руками и запустила пальцы в его волосы. Зажмурившись и приоткрыв рот, она всасывала из воздуха его губы.

Кашель матери прервал ее грезу. Она открыла глаза и снова посмотрела на неподвижный образ в зеркале: невысокая толстая девица с огромной грудью кормящей матери, с подушками жира

вокруг таза, колышущийся живот, как мешок с отрубями, бугры сала на бедрах, пьедесталы ног с икрами, которые совсем не суживаются к щиколоткам. Барышня Кочандрлова! И ее залило вечерним солнцем, как лицо Норы ризой патера Нойманна. Изо всех сил она сжала веки и втянула в себя воздух до хрипа в легких. Ей хотелось либо свалиться в истерике на пол, либо разбить зеркало, либо кого-нибудь, хотя бы этого болвана Семочку, чтобы пришел и изнасиловал ее прямо на этом холодном кафельном полу.

Болезненно вздохнув, она открыла глаза. Отчаяние постепенно сменялось отупением. Снова посмотрела на себя в зеркале. Сжала бедра, повернулась немного боком к своему отражению, слегка наклонилась, втянула живот, левую руку вытянула перед собой жестом Венеры, правую с полотенцем положила на груди. Возникла иллюзия, и в глубине дневного сна зазвучало нечто сладкое: «Барышня, можно с вами встретиться? Вы придете?» — и зацокали каблучки о мрамор кинотеатра в «Альфе», в «Севастополе», молодой человек протягивал руку через стеклянную стойку, шелест пакетика с конфетами, она была уже не одна, не одна все время, лишь при Ивонне, или при Магде, или при Норе, Норе, Норе

Иоахимовой-Гаусманновой; она отняла руку с полотенцем, груди, как караваи свежего хлеба, опустились немного; повернулась лицом к стульчику возле ванной, взяла коробочку с ароматной солью. Открыла и насыпала зеленого порошка в воду. У него приятный запах, но он тоже совершенно бесполезен. Со спинки стула свешивались розовые нейлоновые трусики и американский бюстгальтер от дядюшки Джо из Америки. Она влезла в ванну и сжала зубы. Болваны! Почему мне все время суют такие подарки, каких ни у кого нет? Почему все время делают вид, что ничего особенного, ведь все видят, все знают? И Нора, ядовитая роза. Она-то — больше других! Болваны! Болваны! Сволочи!

Она вытянулась в ванне, ожидая, пока вода успокоится. Через минуту вода стала как стекло, и из стекла торчал, как островок с лагункой, ее живот.

У «Ангела» в трамвай ворвалась группка рабочих с завода Ринггоффера и среди них — стройная, с мальчишеской фигурой, золотисто-рыжая девица в синей спецовке. Сэм из угла у кабины водителя с веселым любопытством посмотрел на роскошную американскую шевелюру. Светло-голубые глаза девушки пронзили серый зимний

день и спросили Сэма: почему бы тебе, собственно, не заинтересоваться таким даром Природы? Его ответ: *«It's elementary, my dear Watson!»*[1] Потому что подобные девицы ходят туда, куда я не хожу; и еще потому, что я занят. Ирена начала со мной сама. Всегда какая-нибудь женщина начинает со мной первая.

Трамвай тащился зигзагами улиц, рыжевато-золотистая голова вертелась, светло-голубые глаза рассылали во все стороны легкие авансы. Теоретически — и в сторону Сэма. Трамвай остановился, девушка прижалась к стенке, уступая дорогу какому-то олуху, и ее маленькие груди — скорее лишь намек на женский бюст — четко обозначились под комбинезоном. Очаровательно, дорогой Ватсон! Помятый в паху комбинезон ладно облегал ее мальчишечью фигурку, а голубые глаза с затаенным смехом вдруг на мгновение остановились на Самуэле. Он дерзко подмигнул, но девица не ответила, ибо толстый мужик как раз протискивался мимо к выходу, а потом она уже снова тараторила что-то парнишке в голу-

---

[1] Примечания: 1

«Это элементарно, дорогой Ватсон!» *(англ.)* — фраза, часто приписываемая Шерлоку Холмсу, впервые появилась в комическом романе П. Г. Вудхауза (1881–1975) «Псмит, журналист» (1915) как псевдоцитата из Конан-Дойля.

бом берете. Стало быть, она из рабочих, из Союза молодежи.

Бывают ли такие на самом деле, задала она ему следующий вопрос. Правда ли марксизм-ленинизм важнее для них, чем мужчины, украшения, уютно-интимная атмосфера «У Мышака», где, как окунь из озера Альфонса Мухи, плавает Ирена — во французской блузке из черного бархата, вечно в своих мыслях, вечно нерешительная? Он пялился на красотку в комбинезоне, но ее симпатичная *saucy shorty* совсем не гармонировала с одеждой, да и вообще — ее красота как-то не совмещалась со строительством будущего и с русскими песнями. Я ведь их знаю, размышлял он под лучами полуденного солнца, которое клонилось к закату, хорошо помню эти лесные бригады и пронзительные голоса молодых фашисток; работа как таковая их не радует, но лишь с парнями, они всегда в шортах и в майках, закатанных под самую грудь. Так, по крайней мере, считают везде: и дома, и у Ирены — всюду. А может, это мы в стороне, — и дома, и у Ирены, и всюду, а они живут в точном соответствии с принципами, какие приводит газета «Млада

фронта»? *Who knows? I certainly don't.*[2] Ну, тогда и фиг с ними! Пусть будет как будет, а у этого существа в синем комбинезоне есть поэтический *sex appeal*, и неважно, что весомее под бронзой червонного золота — идеалы Союза молодежи или американо-голливудский *jitterbug*.[3]

А девица продолжала без устали тараторить и вертеться, меняя варианты тех самых своих улыбок, о разнообразии которых любила порассуждать Ирена. Та видела девиц сквозь их улыбки — до самого нутра, до девичьих комнат, где они тренируются перед зеркалом; но относится ли это к работницам? Все же сексуальная техника — бесклассова в принципе.

Он глядел на нее с профессиональной сдержанностью, довольный, что случай сократил ему скучную, стократ езженную дорогу до Радлиц, которую к тому же приходилось преодолевать трамваем, ибо нынешняя отцова любовница живет на Збраславе и вовсю распоряжается семейным автомобилем; эта кукла разыгрывает спектакль «Преувеличенная забота о головке, прикрытой чепчиком». Абсурд! Возможно, в той

---

[2] Примечания: 2
Кто знает? Уж точно не я *(англ.).*

[3] Примечания: 3
Здесь — джазмен или истовый фанатик джаза *(амер. разг.).*

голове что-то есть, а может, и нет; но какие, к черту, там могут быть фантазии, это не Ирена, *sophisticated lady* с полуночными в зелень глазами, из тех женщин, что всегда такие же и в двадцать, и в тридцать, и даже в сорок — замороженная и вечная. А эта вот… — он вдруг заметил, что голубые глаза его попутчицы с любопытством устремлены в него. Профиль парнишки в берете что-то излагал, она поддакивала, но глаза, подобно маятнику, упорно сновали туда-сюда, то и дело встречаясь с глазами Сэма. Но — черт побери! — надо же случиться, что именно сегодня он обязательно должен быть наверху, не может выйти из трамвая и тащиться за нею по Смихову, куда-нибудь до самых бараков в боковой улице, ожидая, когда она распрощается со своим слесарем. Или же… Но, увы! — нет времени. Да и все равно, с нею хорошо лишь перемигиваться, постель эту поэзию убивает, даже постель Ирены — наверное, потому, что он ни разу в ней — к сожалению! — не спал, хотя Ирена, в своем пальто по фасону «*Vogue*», словно специально создана для таких радостей.

Трамвай остановился, волна выходящих накрыла волну входящих. Людской поток на какой-то миг заслонил от него двери, но когда отодвину-

лась последняя спина, он снова увидел девушку: она, уже ступив на мостовую, подавала руку парнишке в берете; тот же, высунувшись следом, держал ее пальцы в своих и что-то говорил. Со словами:

— Ну, пока, Ярко! — она выдернула руку, изобразила на лице товарищескую улыбку и вдруг — о, подлая! — тут же одними губами послала в сторону Сэма ослепительное, жаркое, страстное приглашение на рандеву. Эта улыбка потянула его как магнит, однако он не успел вовремя преодолеть заграждение из опытных трамвайных ковбоев и смотрел теперь из плавно набиравшего ход трамвая, как она быстро шла по мостовой — руки в карманах, папка подмышкой; столь же быстро он протолкался к дверям и высунулся наружу; она уже стала отставать, и, когда в тени заходящего солнца он послал ей ответ взглядом, она снова вызвала его на свидание; он хотел выпрыгнуть, но трамвай уже шел слишком быстро и рисковать не имело смысла. На фиг! — сказал он себе и остался на ступеньке; свидание исчезало в пространстве и в неуверенности получувств; девушка постепенно отставала все больше, стройные ножки в брюках все еще делали очаровательные шажки вперед; что-то, пожалуй,

безвозвратно уходило; потом она свернула в боковую улицу, на мгновение еще раз мелькнули в заходящем солнце радлицких окраин ее профиль, ее длинные ноги, ступающие в сторону холма, где ему никогда не приходилось бывать, ее бронзово-золотая голова. На фиг! — снова сказал он себе, там есть парень для нее, тот, накрытый беретом. Она — всего лишь трепетное, светлое существо, о котором приятно думать, аполлинеровская красавица из трамвая; лучше ее не трогать, лишь смотреть издали, оставаясь при своих иллюзиях.

На следующей остановке вышел и тот парень «для нее», и трамвай въехал в Радлицкую долину. Светящиеся окна поместья вернули его к жизни. И ему сразу стало тошно. Трамвай бежал своей дорогой, а Сэм с отвращением думал об Иржине, о ее обнаженных плечах прачки и дурацких розовых платьях; весь вечер она будет на его шее, — ведь к ней никто не приходит, и в сто первый раз он будет играть стократно сыгранную роль добродушного ловеласа, чтобы барышне было весело. Зачем он, собственно, это делает? Из какой-то извращенной филантропии или чего-то еще? Ради еженедельной порции хлеба с маслом в этой неустойчивой политической ситуации?

Нет, просто потому, что он идиот и ему всегда

ее немного жаль. Бедная барышня без мужчины, толстая и непривлекательная, и если им кажется, что таскать ее по танцулькам — для нее хорошо… Тетка всегда вспоминала свою эпоху, — ну конечно же! Однако, если судить по снимкам, тетушка, наоборот, была очень симпатичной златовлаской в чарльстоновском платье; отец Сэма вроде бы из-за нее получил в восьмом классе гимназии тройку по поведению, что по сути было лишь хорошо подмазанной заменой исключения. И вроде бы ради прекрасной тетушки Людмилы чуть не расстроился его брак с дочерью пана консула Кудрнача, моей матерью… Говоря откровенно, — размышлял он на площадке вагона, продуваемой зимними ветрами и украшенной вечерними тенями, — мне так не кажется, но если так думают они, — что ж, я пытаюсь доставить ей удовольствие. Она меня, конечно, ненавидит, — ну и что с того? Нет, я делаю то, чего от меня ждут, а это принято считать любезностью и галантностью. — Ты идешь сегодня на вечер с Иржинкой? Ну, вот и хорошо, ей нужно развлечься. — Я, конечно, очень сомневаюсь, что ей там весело, но предполагается, что весело, а что предполагается, то и годится.

Но там, по крайней мере, будет Ирена, которая

заведет с Иржиной ядовитую беседу, и Роберт, ненавидящий как вынужденность своего пребывания здесь, так и то, ради чего сюда заявилась Ирена: она ведь пришла, чтобы танцевать с Самуэлем Гелленом на американском балу, под звуки Влаховой *swing party*, среди дипломатов из *American Embassy*, чтобы медитировать тут в своей снобской мечтательности и чтобы Самуэль в своем смокинге от «Книжете» помогал ей на этом поприще, ибо для того он и существует; он — да, Роберт — нет. Нельзя сказать, что Роберт ничего не стоит, но он постоянно виснет на ней, покорный малейшему движению ее мизинчика; он способен к самопожертвованию, всегда готов услужить; она познакомилась с ним задолго до Сэма и спала с ним задолго до того, как первый раз отказала Сэму, да и политическое положение у Роберта куда прочнее. Поэтому в конце концов Иренка и вышла за него. Поэтому? Поэтому. Поэтому? Трамвай свернул к остановке. Сэм соскочил и сделал несколько эквилибристских прыжков — не запачкать бы лакированные туфли! Затем повернулся против хода трамвая й зашагал полевой дорогой к усадьбе. Там, наверху, перед зеркалом, на которое падают последние лучи солнца, сидит Иржинка и заканчивает свой

makeup. Рядом с трельяжем — письменный стол с книгами из Института: *Grammaire française, La petite parisienne, L'Histoire de la littérature française, Visites le Louvre, Elle, Franse-Soir* и так далее — Иржинин мир Института Эрне Дени, где ее пичкали французским, хотя он бедняжке никогда не давался, и она сама не представляет, зачем он ей, да и никто не знает — ну разве что во имя той сомнительной мечты о сомнительном будущем под названием «чтоб-оно-треснуло». Хотя с такой же вероятностью можно ожидать, что однажды Иржинка будет играть в Чешской филармонии лишь потому, что дважды в неделю ходит бренчать на пианино. Сэм ухмыльнулся и выплюнул в черную борозду хлебоносной почвы жвачку, которую берег во рту с самого обеда: то был один из последних пластиков. Пианино, разговорники — похоже, в ее жизни от них будет столь же проку, как и от афоризмов в ее дневничке, где также присутствует и его перл, содранный у Шекспира — или из Библии? Нет, все-таки из Шекспира: *We are such stuff as dreams are made of*[4]... Несомненно, это очень поможет бедной Иржинке в

[4] Примечания: 4

Вернее «We are such staff// As dreams are made on» *(англ.)* — «Мы созданы из вещества того же, // что наши сны». У. Шекспир, «Буря», Акт IV, сцена 1 (перевод М. Донского).

ее проблемах.

Он подошел к калитке поместья и отворил ее. Табунок поросят с громким хрюканьем перебегал двор наискосок. Табунок бессмертных поросят, сопротивляющихся первому закону диалектики. Из-за поросят выскочили две охотничьи собаки и бросились на Сэма.

— Фу, дурачье! — крикнул он, отталкивая их. В приступе бессмысленной радости собаки наскакивали словно резиновые. Но только до крыльца. Как только он поднялся на ступеньки, они утратили интерес и вернулись на место.

Он медленно поднимался вверх по испанской лестнице. Половина двора уже была в тени, и в хлеву включили свет. Для него наступала вечерняя отрава. Он взялся за ручку двери и вошел.

Она слышала, как он идет по плиткам передней и открывает кухонную дверь, и потом его глубокий голос:

— Добрый день! — и восторженный ответ матери:

— Здравствуй, мальчик! — радость глазам, которые минуту назад — она видела — пялились в пустоту. Иржина уже стояла перед зеркалом, накинув мохнатую простыню, и стирала с кожи лесной аромат. Она сознавала, что дверь ванной

не прикрыта, и ее правая нога, весь правый бок обнажены, и это как бы продолжало недавний сон о Норе-Иржине и докторе Гаусманне (последний был легко заменяем) — продолжало тем, что было совершенно ясно: кузен внутрь не полезет, и это лишь возможность, которая не свершится и ни в какой сон не воплотится.

— Иржка, поторопись! Сэм уже здесь! — позвала мать за дверью, и дочь помещика нахмурилась.

— Сейчас! — отозвалась она, продолжая стирать зеленый аромат с покрасневшей кожи.

Завернутая таким образом, думала она, я выгляжу не так уж плохо. Если бы не эта здоровая сельская краснота, лицо не было б таким уж непривлекательным. Губы у меня красивые, губы… Но это всегда так. Не будь этой здоровой красноты. Не будь этого живота. Не будь этих ног, как у рояля… Не будь этой здоровой красноты, не будь этого живота, не будь этих рояльных ног — не философствовал бы доктор Гаусманн о женских глазах. «Я не воспринимаю в женщинах ничего, кроме глаз, — говорил он, потому что обедал у них. — Глаза у женщин — это самое привлекательное», — возглашал он тоном адвоката по уголовным делам, а Нора целомудренно глотала мороженое, пряча под своим лиловым,

самым привлекательным нарядом грудь как раз на меру ладони доктора Болвана Гаусманна. О боже! — она в ярости сбросила простыню на пол, показала себе в зеркале язык и быстро натянула нейлоновое белье. Из гостиной донесся смех кузена. Еще один болван! Зачем он старается? Почти голая под халатом, она ворвалась в гостиную, где на нее из кресла уставился кузен, скучающий до мозга костей, но его глаза и губы, зацелованные этой шлюхой Иреной Гиллмановой, галантно улыбались.

— Здравствуй, Джорджиана! — сострил он.

— Привет, Семочка! — ответила она, чтобы разозлить его. Он не любил, когда его так называли, ибо это напоминало о временах, когда он был маменькиным сыночком, и кое-кто из родственников помнил еще, что его вплоть до второго класса водили в школу за ручку. Был он вроде слабеньким, болезненным ребенком, и глупые девчонки всегда над ним подшучивали. Но что из того — сейчас вырос из него элегантный мужчина в смокинге и любовник этой ужасной Гиллмановой. Об этом тоже все в родне знают. Католическая ветвь рода, как всегда, рьяно вынашивает планы спасения его души; тетки, чередующиеся у Гелленов на чайных приемах,

выговаривают тете Гелленовой, но тетя Гелленова отвечает: «Оставьте его в покое, я не буду ему ни в чем препятствовать; мне тоже нелегко это видеть, но он любит ее, нет смысла его упрекать; чем больше я буду ему запрещать, тем больше он будет думать, что на свете нет другой такой; вы ведь помните, как это было с Лаурой; надо ждать, пока он не влюбится в какую-нибудь другую девушку; как это и было с Лаурой, Семочка влюбится в какую-нибудь новую Гиллманову…» Ах, тетя Гелленова глупа, но она понимает людей, размышляла дочь помещика, это единственная тетка, кого я люблю, но она страшно любит Семочку, а Семочка делает, что может, чтобы натворить столько бесстыдства; и в конце концов он разобьет ее сердце, потому что это совершенный олух, хотя считает себя светским человеком; на самом же деле он всего лишь тягостный паяц при этой шлюшке Гиллмановой. Она прикрыла за собой дверь гостиной, но оставила большую щель. Включила свет, подошла к гардеробу и коснулась розового платья на плечиках.

— Ну, что нового? — начал кузен из гостиной. Как обычно. И еще думает, что у него есть фантазия!

— Так, ничего особенного.

— Что Нора?

— Нора? Она замужем…

— Знаю.

— Сейчас они с мужем собираются в горы.

— Да? А что Магда? Все точно по программе.

— Ну, ходит в институт. — Она так пошутила. И он пошутил:

— По-прежнему каждый день на маникюре?

— Не каждый — через день. У нее сейчас серьезное знакомство.

— Да? С кем же?

— Не знаю. Какой-то инженер или что-то вроде.

— Ага!

Сейчас он спросит про Ивонну.

— А чем занимается Ивонна?

Точно! Один к одному!

— На Пасху она полетит в Париж, к бабушке.

«Ты должна меня с ней познакомить».

— С ней ты должна меня познакомить!

— Конечно! Именно тебя, Семочка.

Может, и познакомлю, подумала она. Но не ради тебя — ради тети Гелленовой. Ивонна быстро вылечила бы тебя от гиллмановщины: *Mademoiselle Yvonne Durand, fille de premier secretaire de la legation française.* Только что тебя лечить? Свою жизнь ты

сам лепишь, Семочка. Вот только тетю жалко.

Она слышала, как он встал и прошел в ее комнату; заскрипел стульчик у пианино, и он сразу же начал бренчать. Играл он ужасно. В родне принято им восхищаться, но только потому, что род совершенно не музыкален. Она включила маленькую лампочку у зеркала на туалетном столике и снова посмотрела на себя. В самом деле, вот так освещенная спереди, я выгляжу — если не обращать внимание на пухлость — почти приятно, не будь… Ну да, не будь этого «не будь». Боже, «не будь»! Она развязала полотенце и тряхнула головой. Из полотенца выпали редкие соломенно-желтые волосы в папильотках. Она раскручивала их одну за другой. Когда освободилась от последней, он сунул голову в спальню и только потом спросил:

— Можно войти?

— Можно, Сэм. — Она посмотрела на него в зеркале. — И погаси верхний свет.

Она видела черную руку с белоснежной манжетой на стене, которая сразу же погрузилась во мрак. Из плоскости зеркала выступило ее лицо, теперь уже не красное, а почти розовое, и алые губы. Глаза заблестели — даже почти эффектно, как у Норы. Не будь… Ах, глупость! Из тьмы

выступил и кузен: остановился за ее спиной и приступил к одной из своих стандартных тем, предполагая, что они ее — так называемую женщину — занимают; на самом же деле они должны были вызвать интерес к нему самому:

— Вчера встретил Лауру с Павлом.

Тоже мне тема! Ведь все знают, что с тетушкой Лаурой он снимал комнату у Губертуса задолго до того, как это же сделал Павел, другой ее племянник, и Семочка прекрасно знает, что это известно каждому. Взяв гребешок с туалетного столика, она принялась расчесывать волосы. Потом спросила:

— Ты думаешь, они действительно вместе?

Она уже наперед знала, что он сейчас сделает. И он действительно приподнял брови и ухмыльнулся левым уголком рта.

— Не знаю, не знаю, — ответил он беспечно. — А почему бы им и не быть вместе?

— Ну, мне кажется, что Норбертов не обрадовала бы их женитьба, а?

— А где это написано, что так уж и сразу нужно жениться?

— Да, конечно. Но если Павел ее любит…

— Павел — да. А Лаура все же немножко бестия.

— Сэм! Ты не должен так говорить о ней!

— Но я ведь не в плохом смысле! Уж мне-то не знать ее!..

Конечно, знаешь. Яснее и напомнить нельзя, что у тебя с ней что-то было.

— Мне известно, что ты ее хорошо знаешь, — ответила она, с укором глядя на него, и это его, конечно, потешило. Губы его искривились, и он стал похож на опереточного циника. Не хватало только усиков.

— Ну, разумеется.

— Именно поэтому ты не должен так о ней говорить. Называть ее бестией только за то, что она оставила тебя. — Опереточная улыбка заметно смялась. Ну что ж, надо быть изобретательнее, если хочешь меня развлечь, подумала она; или не хочешь, раз уж ты ударился в христианскую добродетель? Но его улыбка снова вернулась на место: кузен по-английски овладел собой. И снова приподнял брови:

— Меня оставила? — удивился он. — Ну, если ты так думаешь… — Он сделал паузу, словно и без того было ясно, что она ошибается, что не Лаура его оставила — просто *он* дураком оказался. Потом продолжил:

— Но я так назвал ее вовсе не потому.

— А почему же?

— Так, вообще. Это ведь можно сказать почти о каждой женщине.

— И о пани Гиллмановой? — спросила она тоном Норы и сразу же пожалела, потому что не хотела доставлять ему удовольствия. Его, конечно, это не задело, совсем наоборот.

— О *какой* пани? — снова удивился он.

— Ты, наверное, с ней незнаком, — ответила она, а Семочка взял со столика флакон с лаком для ногтей и мечтательно задумался.

Украдкой посмотрела в его лицо. Он довольно красив, этот Семочка. Это его шутовство, пожалуй, окупается. Мужчины часто делают худшие вещи с меньшей выгодой для себя. Выспаться с Гиллмановой — наверное, оно того стоит. Но если бы не был он таким болваном! Однажды пришел на вечеринку со страшным прыщом на шее и сидел с ним, как награжденный орденом, словно в этом награждении не было ничего особенного, но надо, чтобы эту награду видели все. Сэмчик всегда был позером. Иногда ей казалось, что ему больше нравится говорить о некоторых вещах, чем делать.

— От дяди Джо? — спросил он вдруг, все еще загипнотизированный флаконч иком.

— Нет, это Нора получила от Петра.

— Ага. — Слова у него кончились. Он вернул флакон на место и посмотрел на нее в зеркале. Она отложила расческу, взбила волосы, а кузен впал в транс. Ей захотелось выгнать его, но она этого не сделала. Взяла из мисочки розовую пуховку и стала пудриться. Нора. Нора пудрит и плечи, на балу у медиков на ней было платье с глубоким декольте; белые Норины плечи, сотворенные Иоахимовыми для поцелуев. Интересно, есть ли на них сейчас, после свадебного путешествия, прыщи? — подумала она, а кузен тем временем проснулся — возможно, пудра защекотала в носу, — наклонился и чихнул ей в лицо:

— Хорошая пудра. Классно пахнет.

Ее вдруг охватил приступ судорожной ярости. Она резко встала.

— Это мне привезла Ивонна из Парижа, — произнесла она, мысленно продолжая: «Чихай себе у Гиллманши, на Гиллманшу, идиот! Идиот!» — и потом вслух: — Выйди, пожалуйста, я буду одеваться.

— О'кей, Джорджиана! — глупо произнес он, встал и ленивым шагом выплыл из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, она со злостью показала язык в его сторону. Идиот Семочка!

В кресле под портретом короля Георга VI сидел выпускник философского факультета, теперь уже профессор[5] Монти Бартош с «Лайфом» в руке, напряженно размышляя, как сделать, чтобы не бросались в глаза его красно-сине-желтые полосатые носки, ибо они внезапно стали знаком стыда и позора. Еще вчера и позавчера он имел на них право, он был Монти Бартош из *SBA*, но сегодня у него уже лежит в кармане направление Министерства просвещения, он теперь сельский учитель английского языка Мартин Бартош в области Усти-над-Лабой, — и право на пестрые носки у него отняли. «Монти, бедняжка, — говорила Рената, — делай же что-нибудь, неужели ты собираешься туда ехать? Это ужасно!» Сама же она, разумеется, и пальцем не пошевельнула. Конечно, это страшно. И сейчас он торчит в клубе, как сельский дядюшка, гостящий в Праге, и ему кажется, что под американскими *poker faces* все прячут насмешку. Прочь из Праги — и навсегда! — ибо в отличие от большинства из них он серьезно опасался, что никакой войны больше не будет. Всю жизнь где-то в Верхней Лготе, в сельском училище, которое зимой завалено снегом,

[5] Примечания: 5

Звание профессора выпускники некоторых чешских вузов получают сразу после выпуска.

а летом тонет в грязи, откуда ездит автобус два раза в неделю до районного центра, — и учить там цыганят таблице умножения и азбуке. Когда он час назад притащился в клуб, Густав небрежно бросил ему: «Привет, Монти! Ты уже получил это?» — а когда он кивнул и сказал, что в понедельник отправляется, Густав пришел в ужас. «Не валяй дурака, приятель! Достань какую-нибудь бумажку от доктора, как я, — ведь не собираешься же ты для них строить из себя барана где-то в Гацашпрндовичах!»

Профессор чувствовал себя так, словно его отхлестали плетью. «Не валяй дурака!» — Густаву легко говорить. Его папаша быстро перекрасился и сидит сейчас в директорском кресле «Центротекса», к тому же сестра Густава вышла за Грюлиха из Министерства просвещения, а тот был в силе еще с сорок пятого. Ренате тоже легко жалеть и трепать языком: стоит ей улыбнуться, и она получит отсрочку хоть на десять лет, даже не прибегая к протекции. Или Михалу Д. Голлинеру с пестрой сетью дядюшек разных оттенков, от белого до красного. И вообще — всем в *SBA*.

Кроме него. Хотя он четыре года своего студенчества пахал на них и внушал себе, что он здесь свой, что им равен, пусть даже он всего

лишь Мартин Бартош из Костельца, сын мелкого лавочника. Четыре года в клубе изо дня в день, в тщательно выглаженном смокинге, в ярких носках, в шелковом галстуке. Четыре года английской речи и дансинга в *Prague English Club*, и *Halloween* в *American Institute*, и *River Party* на Влтаве. Американцы видели в нем прирожденного нью-йоркца, никто в *SBA* не мог так произнести *«C'mon, fellers!»*[6] и подобные фразочки, что летали здесь от стены до стены в престранном произношении; но сейчас этот карточный домик вдруг рассыпался, и он уже видел все без розовых очков: он — не ровня, никогда равным не был и не будет. И, если быть откровенным, — думал он с «Лайфом» в руке, рассматривая фото принцессы Маргарет, — на самом деле его никогда особенно не тянуло делать то, что он делал. И вообще, нравилось ли ему здесь, среди этих папиных дочек с аффектированным акцентом, пытающихся американским *nasal twang-ом* прикрыть грамматические ошибки? Не нравилось. В их обществе он постоянно чувствовал тяжесть в желудке, никогда он здесь не был самим собой… И все-таки упорно сюда лез. Извращение какое-то!

---

[6] Примечания: 6
Поехали, ребятки! *(амер. разг.)*

Поверх «Лайфа» он смотрел на четверку за столом для бриджа: Эва в заграничном зелено-желтом джемпере, против нее — Густав в пальто «эстерхази». Между ними Эмиль со жвачкой во рту и Розетта, в миру Рожена Бурживалова, с совиными очками на носу и очередным бантом на шее; играют в бридж, от которого их тошнит, говорят на английском, с которым едва справляются, одеваются в салонах, где за все платят родители — как ему это знакомо! — ведь он сам вел себя так же, вплоть до этих салонов. Что же в них такого, чего нет в нем?

Он не знал. Знал только, что в понедельник уезжает в Усти-над-Лабой, чтобы занять место в отделе образования согласно направлению министерства и сыграть свою почетную роль в радостном возрождении чешского села. И что все отвертелись, только он один в это вляпался, ибо не было у него никакого дядюшки и не знал он ни одного доктора, а тот, к кому он обратился, сидел в своей плюшевой приемной на набережной, боялся большевиков и решительно отказался подтвердить что-либо, кроме отменного здоровья.

От всего этого его мутило. Дверь рядом с креслами отворилась, и вошел Павел Роучек. Огляделся,

увидел профессора, улыбнулся ему:

— Привет, Монти! — и сел в кресло рядом. У него были такие же пестрые носки. Но ему это можно. — Ну, как оно?

— Да так, — ответил профессор.

Павел продолжал:

— Слушай, у нас новый корнетист. Классный мужик!

— Где вы его нашли?

— Он от вас. С философского, первый курс.

Роучек произнес эти слова совершенно банально, но профессора они укололи: он вдруг — впервые в жизни — ощутил мимолетность времени. Быть на первом курсе — какое неимоверное счастье! Жить в Праге еще четыре года — тех, что для него уже в прошлом. Стопудовой гирей на него обрушилась безнадежность, и понадобилось немалое усилие, чтобы произнести с притворным интересом:

— А он играл когда-нибудь в диксиленде?

— Да, где-то в Рыхлове или еще в какой-то дыре. Монтик, ну и тональность у него! С ума сойти! А импровизирует — это надо слышать! — Павел щелкнул пальцами. И, как назло, добавил:

— Ты же его услышишь во вторник, а? У нас *jam* в «Луксоре». Придешь?

Профессор промолчал, но щеки его вспыхнули. Стыдом. Во вторник в «Луксоре» его не будет. Вторник выпадает как раз на Гацашпрндовичи. Павел, Йойда, Ко-мерс — все будут сидеть под перламутровой раковиной в том дорогом кафе и трубить *«Riverside Blues»;* Рената за столиком будет подпевать вполголоса, а после полуночи они выйдут на Вацлавскую площадь, потом разойдутся по теплым квартирам с центральным отоплением; он же давно будет в постельке, под полосатой периной в холодной халупе, навсегда потерянный, унесенный из мира куда-то в Крушные горы, в сельское училище. Но это же абсолютно невозможно, — вскричало в нем отчаяние, — нет, нет! — хотя он сознавал, что его внутренний крик — лишь бессильная риторическая завитушка. Этого от него никто не имеет права требовать! Он вовсе не для этого — учительствовать в горной школе! Он не умеет! Ненавидит! От него им никакого проку! Он погубит всех детей, что попадут под его руку! Они не должны так поступать с ним! С ума сойти!

Он не слышал, что говорил Павел, если тот и говорил что-то, и не мог воспринимать, как раньше, это клубное волшебство. В мыслях он уже сидел — неотвратимо! — в поезде на Усти, с

двумя чемоданами и направлением Министерства просвещения в кармане, послушный, как лопнувший шарик, учитель-новичок; для него уже наступило послезавтра, утро понедельника; Рената, Павел, Густав — все прекрасные пражские ребята, милая позолоченная молодежь, — еще будут спать глубоким сном под теплыми одеялами в застекленных виллах, в старинных домах набережной, — ведь только семь часов утра! Для провинциального юноши это лишь мечта — у него нет права на такую жизнь. Ему отчетливо дали понять, что он им не нужен, что к ним не принадлежит. Сами они позаботились об охранных грамотах, и никто из них не дал себе труда нацарапать хотя бы пару слов на визитке для контакта с более смелыми докторами. Он не стоил им риска. Он для них — лишь неполноценный коллега из Баликова, которого бросает в краску, когда ему улыбается элегантная бубенецкая дочка. И всегда это было так: на стипендию в Америку поехал в конце концов Михал Д. Голлинер, дурак и сноб, который путал Синклера Льюиса с Элтоном Синклером; в лагере Британского Совета, на каникулах в Англии, места для него не нашлось. В общественный совет *SBA* его тоже не избрали. Это ведь с самого начала было ясно. А он оказался

слишком глуп и не порвал со всем этим.

— Моментик — я пущу грамец, — сказал Павел Роучек и отошел. Мартин видел, как он раскрывает большой электрический граммофон у противоположной стены, потом перебирает пластинки. Мартин уже не мог все это бросить. Сколько ему хватало памяти, он всегда мечтал о Праге, целых десять или пятнадцать сознательных лет в Костельце. Собственно, он вообще-то и жил не в Костельце, а в Праге или другом каком-то городе, который идеально походил на Прагу и состоял из баров и частных клубов, освещаемых не солнцем, а неоновыми огнями. Из граммофона зазвучал грубо-прекрасный *«Muscat Ramble»* Боба Кросби, Павел повернулся к залу, красиво улыбнулся своими губами тромбониста и начал ритмично прихлопывать. От камина поднялись несколько пар и начали танцевать. И к танцу их тоже нужно принуждать! Боже, почему я оказался таким дураком! Почему? Он чувствовал, что в клубе больше не выдержит. Ему страшно захотелось уйти как-то особенно эффектно, по-гангстерски: он действительно чувствовал себя гангстером, который в этом последнем кабаке уже знает, что на углу *Noon Street* его ждет наемный убийца.

Он встал и, элегантно держа руку в кармане, вышел в фойе, в гардеробе взял пальто и шляпу и вышел наружу. В пассаже уже было сумрачно и холодно, но в «Короне» светилось. Его обтекали темные силуэты спешащих людей, среди которых он мог незаметно раствориться. Поток вынес его на улицу. В ушах он сохранил приятные звуки клаксона и электроинструментов, но в мелодии звучала ирония. Свернув за угол, пошел по Пржикопах к «Репре». На фронтонах домов горели неоновые огни. В последний раз. Последний вечер в раю. Убийца ждал далеко, в сугробах, в классах с длинными зелеными изрезанными скамейками.

На «Вопросах ленинизма» лежал Ж.-П. Сартр, лампа с пергаментным абажуром освещала красный нос Колманика и страшную шаманскую маску, висевшую чуть выше. Гном стоял, оцепенело вывалив черные глазки в полутьму комнаты, в другом конце которой причесывалась пани Ирена Гиллманова в одной лишь темно-голубой комбинации. Другая лампа на низком столике под зеркалом освещала ее чуть увядающую кожу и темные круги под змеиными глазами. У ног Колманика кружилась граммофонная пластинка, и глуховатый голос пел о *Rue de Gaieté.* «Месье,

навестите меня завтра», — пел голос, и пани Гиллманова мурлыкала вместе с ним, расчесывая темно-ореховые волосы, слегка поблескивающие в золотистом свете. Она надеялась, что там сегодня будет много молоденьких девушек. «Мы будем вместе смеяться, — монотонно продолжала певица, — и вы увидите, как я умна, Франсуа же это не ценит». Там будут, конечно, Арлетка, Ганка, Ивонна и другие, незнакомые, — наверняка будут. Девушки в розовых, белых, бледно-голубых, бледно-зеленых платьях… Граммофон захрипел, и музыка умолкла. Пани Гиллманова отложила расческу и подошла к нему. Открыла, перевернула пластинку, но слушать не стала. Изящными пальцами нежно взяла Колманика и отнесла на книжную полку. Гномик глазел все так же отрешенно и удивленно. Но все же ночью он должен стоять на книжной полке — так она установила. Он занял свое место возле ветвистого кактуса и уставился в пространство комнаты. Вот теперь все в порядке.

Она вернулась к зеркалу и еще раз осмотрела себя: на хрупких белых плечах кожа смотрелась гораздо лучше, чем на лице. Лицо у нее распутное, говорит милашка Сэмми, — как у испорченного мальчика, и оно волнует его гораздо больше, чем

все остальное вместе взятое. Расческу и гребень она строго параллельно положила под зеркало, и ей захотелось перечесть последнее письмо Сэма. Подошла к письменному столу и выдвинула просторный ящик. Все здесь лежало ровными стопками. Сверху дневник с аккуратными краткими записями обо всем, принадлежности для шитья, зачетная книжка, ключи и последняя связка любовных писем Сэма, перевязанная коричневой ленточкой. Взяла связку в руки. А может, не стоит? Желание перечитывать старательные метафоры Сэма внезапно пропало. Пустое все это. Их приятно взять в руки, прочитать однажды, уложить в стопку, но зачем перечитывать? Она вернула письма на место и подошла к книгам. Тщета. Пальцы начали листать захватанную Библию, лежащую отдельно в конце книжного ряда. Вот оно: *Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.* Или вот это: *Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.* Нет, все это уже заболтано. Сунула книгу на место. Теперь это уже действительно отчаянная, тщетная тщетность, скука, пустота. Ах, был бы здесь Сэм! Она раскинула руки и зевнула. Пустота, пустота.

С этой мыслью она легла на тахту и уставилась

в потолок. Да, все на этом свете суета сует. Супружество, мелкие радости, шуточки о детях, а через пять-шесть лет — конец. Лицо постареет, появятся морщины, и больше не будет даже вот этого: Сэма, девушек, дневниковых записей. Все пустое, меланхолически говорила она себе снова и снова. Какое-то неопределенное состояние: ни печали, ни радости. Подумала о Сэме: он сейчас, наверное, болтает с Иржиной в поместье, потом поедет с ней в «Репру»; Иржинка нервозная, мрачная, толстая; Сэм найдет ее глазами, подойдет к ней и скажет как ни в чем не бывало: «Привет, Ирена», — словно пароль, на глазах злого Роберта, и… А к чему, собственно, все это? Ведь ничего серьезного не будет. Ничто ни к чему не ведет по-настоящему, все пустое, пустое, пустое, тщета, тщета, тщета, аминь.

Скрип. Дверь открылась и вошел Роберт в черных брюках и белой рубашке. Едва увидев ее на тахте, сердито закричал:

— Господи, она еще валяется!

— Ну, — ответила она.

Он остановился над ней и сразу напустился:

— Ирена, не валяйся же все время! На что это похоже! Все мне говорят, что я взял в жены лентяйку!

— Ну так, значит, взял.

Черные глаза его блеснули:

— К черту все это!

— Ты грубиян!

— Но это правда. Целыми днями валяешься, потом тебе хочется на бал, а когда я оделся — ты лежишь здесь еще в комбинашке.

— Главное, что в комбинашке, да?

— Хорошо еще, что не голая.

— Робочка… — нежно начала она.

— Что?

— Дай мне сигарету.

— К черту сигарету! Сначала ты встанешь и оденешься!

— Знаешь, мне подумалось… — так же ласково протянула она и остановилась.

— Что тебе подумалось?

— Мне подумалось, — сказала она тоном маленькой девочки, — что мы могли бы не спешить с этим балом… Выкурим по сигаретке, потом отправимся.

— Никаких сигареток! — резко возразил он. — Раз решили ехать, так едем, и сейчас же! Ведь бал — твой каприз. Ты его придумала, чтобы встретиться с этим пейсатым.

— Робочка, не ругайся!

— Этот парень пьет из меня кровь. И вообще, я твой муж и запрещаю тебе с ним связываться.

— А мне до фигушки твои запреты.

— Посмотрим!

— Посмотрим!

Она знала, что он охотно перешел бы от слов к делу, если б это было в его силах, но он сам понимает, что это не так просто. Он ревнует ее, как собака, к Самуэлю. А Самуэль еще сильнее ревнует ее к нему. Так забавно! Иногда. С другой стороны, частенько доставляет массу хлопот, потому что Сэм… Ах, Сэмми, приятный милый, мальчик! Но она твердо решила, что мужчина у нее будет лишь один, и не собирается отступать.

Роберт сел рядом на тахту и молчал, сердито глядя на нее. Злой Роберт! Однажды он схватит Самуэля за грудки и выбросит одним пинком, да так, что из смокинга Сэма от «Книжете» пыль посыплется. Потом Роберт прилег на живот рядом с ней и просительно произнес:

— Дорогая, ты по-прежнему любишь меня больше всех?

— Ну да.

— И у тебя с Самуэлем ничего не было?

Она покачала головой. Он взял ее за плечи и начал тихо говорить:

— Миленькая, я тебя очень люблю, твои губки, твои глазки, твои волосы, твои грудки, твой животик и пупочек, и попку, и ножки, и все-все-все — и твою душу.

— Да, — ответила она.

— Золотко мое! — Он поцеловал ее. Когда поцелуй затянулся, она стала выкручиваться и мычать. Он ее не отпускал. Она вырвалась и быстро завертела головой.

— Не-е-ет! — протянула она, словно капризная малышка, когда ее упрашивают.

— Ты меня любишь?

— Угу.

— Миленькая, мы не пойдем никуда.

— Нет, пойдем.

— Зачем?

Она нахмурилась:

— Мы должны.

— Ничего никому мы не должны.

— Мы должны. Я обещала.

— Самуэлю, да?

— Ну.

— Этому недотепе?

— Роберт!

— Он прохвост пейсатый, католический баран!

— Роберт, я не буду с тобой, если ты будешь так

говорить!

— И вообще, я его разоблачу у них на факультете. Это такой буржуй-реакционер, что просто тошнит от него.

— Попробуй только.

— Сделаю!

— Попробуй!

Начали бить часы. Когда отстучали, она спросила:

— Сколько это было?

— Восемь.

— Роби, мы должны идти. Я обещала ему, что буду в половине девятого.

Он поднялся и воскликнул:

— Ужас! Раскланиваться с любовником собственной жены!

Она встала и сказала:

— Иди одевайся, дорогой.

— Иду. — Он исчез за дверью. Она открыла шкаф. Ей, собственно, не очень и хотелось идти. Пожалуй, лучше бы остаться на тахте с Робертом. Или нет, не стоит. Надо идти. Боже, какая это свистопляска. Платья в шкафу висели на плечиках старательно выровненные. Внизу белели коробки с обувью. Всюду идеальный порядок. Вещи должны быть там, где им положено. Она

всегда об этом заботится. Квартира, платья и обувь отнимают почти все время. Она раб вещей, но не терпит беспорядка. Относится к ним почтительно, потому что они принадлежат ей и она не может с ними расстаться. Носит все, пока оно на ней не рассыплется. А потом сжигает. Не допускает и мысли, чтобы кто-то носил ее вещи. Это ее вещи, ее, Ирены Гиллмановой, Либень, На Гейтманце, дом семнадцать, и она одна-единственная в мире, говорит Сэм, но она и без него это знает. Ирена Гиллманова, единственная, умная и хитрая, Бобова, несчастная, любимая, ненужная. Лишь одна-единственная Ирена Гиллманова во всем мире.

Боб яростно заскреб дверь снаружи, она отворила. Он начал прыгать на нее в сумасбродном собачьем возмущении. «Фу, Боб, фу», — скомандовала она, с минутку позволив ему попрыгать. Взяла на руки, каштановые собачьи глазки радостно заблестели, потом бросила его на тахту. Боб встал на ноги, зарылся головой в подушку и, вертя задом, по-боевому зарычал. Она вернулась к гардеробу, достала бальное платье, которое висело на плечиках уже выглаженное и приготовленное, надела его через голову и расправила. Оно уже стало тесноватым. Застегнулась по

самую шею и посмотрела на себя в зеркало: красивый испорченный мальчик с зелеными глазами, в черном платье из блестящей тафты, сшитом точно по форме тела, маленькая грудь, белый кружевной гимназический воротничок.

В голове пронеслись воспоминания, заблестели, как складки тех старых платьев. Впервые она надела его в тридцать шестом году, на выпускном балу, где все матери розовых, белых и бледно-голубых дочурок возмущенно оглядывались на нее, где Йозеф Мах признался ей в любви во время танца, а Антонин Швайцер — после бала, когда провожал ее домой. Вот это была эпоха! Но ее уже нет. И она уж ничего не ждет от жизни. Тогда это были почтительные, робкие юноши, они хотели только дружить, беседовать, держаться за руки и самое большее — целоваться в парке на Шлосберке, а сейчас все уже достаточно хорошо знают, о чем идет речь, поддаются этой ошибке и на то, что было прежде, ленивы.

Накрасив губы перед зеркалом, Ирена надела котиковую шубку. Роберт вошел в комнату в черном зимнем пальто, в коричневой страшно помятой шляпе на голове и с клетчатым шарфом на шее, — все это вместе называлось «товарищ Роберт».

— Ты готова, дорогая?

— Уже иду, — ответила она, глядя последний раз в зеркало. Он придержал перед нею дверь, она вышла в прихожую, слыша оттуда, как он кричит на собачку. Потом закрыл дверь и догнал ее. Боб в комнате скулил и царапал дверь. Они вышли из дому и направились к трамвайной обстановке. На зимнем небе сверкали свежие, пустые, далекие, всегда одни и те же зимние созвездия.

Из клуба он уходил с решением не появляться на балу, но, когда шагал по Пржикопах, когда из легкой мглы зимнего вечера выплывали на свет девушки в длинных платьях под короткими пальто, его пораженческое настроение совершило кульбит и он стал смотреть на все совершенно иначе. Если это катастрофа, пусть катастрофой и остается, но с завтрашнего дня. Сегодня он все еще Монти из *SB A*, в смокинге, все еще Монти. *Why should 1care?*[7] — говорил он себе в блаженной эйфории циничного, животного чувства человека-обезьяны; этим принципом — сначала вынужденно, потом по привычке или, собственно, потому, что со времен войны приходилось жить под диктатом необходимо-

---

[7] Примечания: 7
Мне какое дело? *(англ.)*

сти, — он руководствовался во время всеобщей трудовой повинности во флоретском лагере в Берлине. Единственный способ пережить катастрофу — сделать из нее приключение. Лозунг к Первому мая!

Он медленно шел мимо сверкающих витрин, искал глазами доступные зрачки спешащих на бал красоток и тихонько, под ритм шагов, напевал: *«Hurry, sun, down, see what tomorrow brings,* — так, как напевал эти слова когда-то во Флорете, эти монументальные стихи мудрой песенки: — *It may bring sunshine and it may bring rain, but hurry, sun, down, see what tomorrow brings».*[8] Напевая, он старательно выискивал маленькие опорные пункты, на которых можно построить хрупкую защиту, но которые, возможно, останутся и на будущее, когда придет конец его нынешним терзаниям. Сначала письма. С юмором о своем пионерстве на селе; письма Ренате, Густаву, Павлу, Розетте, но главное — Ренате. И Ирене Гиллмановой. Но прежде всего и главным образом — Ренате. Он не знал, любит ее или нет, но знал наверняка, что она в него не влюблена. В летнем лагере *SBA* на Крконошах они с ней часто

[8] Примечания: 8

Клонись же, солнце, за горизонт, посмотрим, что будет завтра… Синее небо или муссон — посмотрим, что будет завтра *(англ.).*

гуляли вместе, немного целовались, она немного позволяла трогать себя, и с тех пор время от времени случались взаимные рецидивы, но они никогда не заходили слишком далеко. Она была из Праги, из Бубенче, ее отец был какой-то шишкой в Коммерческом банке, — сейчас, возможно, поменьше, но все же — в Коммерческом банке, и она с детства знала людей, с которыми он познакомился лишь в *SB A*, и то лишь с некоторыми, и то лишь на уровне *«how do you do — how do you do»*, тогда как она с ними обменивалась фразами, из которых он понимал только отдельные слова, а целое оставалось загадкой. Она играла в теннис, и зимой тоже — на эксклюзивных крытых кортах спортивного клуба. И все же она — каким-то своим бубенечским манером — его любила. Но была осторожна. Относилась к нему как к ровне, и вовсе не чувствовалось, что это лишь дань вежливости. Хотя, может быть, и не только. Почему же тогда, черт побери, они не выспались? Потому ли, что Рената, дочь и принцесса, была слишком консервативной? Или, может, потому, что он перед Ренатой, даже когда касался ее под теннисной юбкой, чувствовал какое-то особое, косте-лецкое, волнение, и выходит, что проводником лозунга *«Petting. No fucking»* оказывался именно он?

А как, собственно, складывалось у него *c fucking* все эти четыре года в Праге? Слабо, совсем слабо. Профессор с горечью сознавал, что жизнь его лениво текла сама по себе, а он ни к чему не прикладывал особых усилий. Проболтал эти четыре года, промитинговал, а жизнь — *what about fucking*! Была Розетта, но это спьяну; а так — только одноразово; потом эта медичка Зуза-на из Литомержиц, с полгода примерно, потом как-то прекратилось — он и сам не понял как; с нею у него не было комплексов, а то, что у нее не остался, — так она не «Рената из злата»; а сейчас, если бы он остался с нею, она бы нашла основания, чтобы он остался в Праге, и года два он мог бы еще учиться. Но нет, на нее пришлось наплевать, и он таскался, как привидение, за Ренкой, с ракеткой под мышкой, в числе ее многочисленных поклонников; но Ренке было наплевать на него.

Да, она плевала на него, и наивно думать, что это не так. Просто она очень хорошо воспитана, эта девочка, надевающая каждый день свежее белье и пахнущая сандаловым деревом. Все слишком хорошо воспитаны, а его место — при Зузане, никакой тебе Ренаты. Зузке тоже он мог бы написать из Гацашпрндовичей, но он даже адреса ее не знал. Исчезла куда-то — может, и

замуж вышла. Все в мире делится на воображаемое и реальное. Реальность всегда оказывается жалкой и горькой, и тем горше, чем совершеннее воображение. Неприступное воображение по имени Рената Майерова.

Он направился к Прашной бране и под нею наткнулся на Франци.

— Привет, — тихо сказал Франци.

— Привет, Франци, — ответил он и, заметив футляр с саксофоном, спросил: — Идешь куда-то наваривать?

— В «Репру», — ответил Франци, переводя дыхание.

— На американский бал? Не трепись!

— Туда.

— Парень, с каких это пор ты играешь у Влаха?

— Я не у Влаха. Там, в зале Сладковского, будет играть Зеттнер, так я у него.

Лицо Франци было бледно, на скулах — кровавый румянец; весь мокрый от пота, он тяжело дышал.

— А в остальном как жизнь? — спросил он.

— Глухо. А у тебя?

— Тоже глухо, приятель.

— Когда кончаешь?

— Только что кончил.

— Факт? Ну, так я тебя поздравляю. — Франци подал ему свободную руку.

— Не с чем, — ответил профессор, пожимая руку.

— Что теперь будешь делать?

— Пока ничего, — ответил он. Франци ничего знать не нужно. По крайней мере, хотя бы над ним он чувствует свое превосходство. — А у тебя когда выпускные?

Франци махнул рукой и ответил будто назло ему — сегодня все говорили назло:

— Еще не скоро. По крайней мере, два года еще.

Два года! Профессору расхотелось продолжать разговор. Искусственная эйфория взяла свое и снова, через сальто, обратилась траурной депрессией.

— Ну что ж, топай. Пока настроишь…

— Ты там будешь?

— Само собой, — произнес профессор лихим тоном гангстера и коснулся края шляпы. — Схожу лишь домой сменить шмотки.

— Ну, пока! — ответил Франци.

— Пока!

Он повернулся и пошел к набережной. Быстро пробрался через толпу, прикрывая глаза, чтобы

спрятать набегающие слезы, снова завел старую шарманку: *«hurry, sun, hurry... it may bring rain... but hurry, sun, down»*, — и поскольку опять был один, снова стал гангстером, несчастье снова превратилось в приключение Монти Бар-тоша из *SBA*, которого эти идиоты наивно посылают сеять культуру в возрождающемся селе.

Вход в «Репру» — «Дом приемов» — напоминал в тот вечер голливудскую премьеру. Ряды сверкающих лаком автомобилей стояли по обе стороны входа, и торжественные, элегантные пары входили в сверкающее фойе. Пожалуй, в последний раз, подумал Самуэль, выйдя из семейного лимузина Кочандрловых и ступая вместе с дочерью помещика по мраморной лестнице, — последнее увеселение остатков могущественной буржуазии. Лицо Иржинки неподвижно, губы крепко сжаты; ее толстые красные руки под розовой кисеей неприятно бросались в глаза. Лестница вела к бронзовому гардеробу, похожему на лакированный улей.

Там роились женщины. Он заметил в толпе кузину Эву — одну из тех, кто выиграл. Как те плзенские девушки три года назад, подумал он, только там большинство не сообразило, что в мундире дядюшки Сэма любой поденщик вы-

глядит миллионером. По крайней мере, до тех в Плзне это не дошло. Эвочка, прошедшая через концлагерь, была умнее: она вышла за мексиканского консула. И сейчас с видом победительницы расхаживала в своем импортном платье с глубоким вырезом на спине, с гордо выставленным номером, вытатуированном на запястье, и с маленьким консулом-латиносом рядом с собой, который этим номером гордился не меньше ее.

Все это пахнет абсурдом, думал Сэм, — вся эта прославляемая историческая справедливость революции, переворота и путча. Ничтожным административным росчерком пера в ратуше Эва оказывается недосягаемой для большевистской власти. А взять Иржинку — что ее ждет? Разве что и ее снабдить супругом-дипломатом? Но уж очень близоруким должен быть этот дипломат, и к тому же — истовым католиком.

Он поискал ее взглядом: она стояла у зеркала, занятая тем тщетным делом, которое у женщин называется «привести себя в порядок». Для нее — бесполезным. Жмурясь от света ярких хрустальных люстр, он перевел взгляд на свою более привлекательную кузину. На отца, подумал он, Эва совсем не похожа, но она его дочь — с железной гарантией. Более прочной, чем у кого-либо

из нас. Один бог знает, кто относится к роду лишь благодаря определенному административному деянию в ратуше. Иржинка, например, отец которой основательно нахалтурил с ее внешностью, больше походит на некоего батрака из Задворжи. И один бог знает, не лучше ли было бы сейчас для нее, чтобы эта административная ошибка открылась.

Но Эва — несомненно, дочь дяди Кона, погибшего в Терезине. Он хорошо помнил этого уродливого еврея, который злодейски втерся в потенциально антисемитский род через постель тети Луизочки, — и только благодаря зачатой в тот момент Эве. Так что Эва, настоящее дитя любви, красива, как и все плоды большого греха.

Иржинка вернулась, взяла его под руку. Он галантно проводил ее наверх, в «променуар».[9] Глаза здесь разбегались от женских туалетов, которые в искусственном свете смотрелись сверкающим живым ковром. Он предвкушал встречу с Ireной — в ее вечернем туалете и с ее мудрой, усталой душой. Хотя над этим подшучивают, Ирена словно рождена для вечерних платьев — мальчик с зелеными глазами, без аромата,

---

[9] Примечания: 9

Променуар — крытая галерея для гуляний *(фр.)*.

без запаха, — совершенно не похожая на остальных. Эта ее отличительность изучена, конечно, психологами. Сказано, почему она возникает, но не описано, какова она, ибо она неописуема. *Elementary*— ничего не поделаешь! Другие женщины, с их завитыми прическами, бритыми подмышками, накрашенными лицами, с их тюлем, шелками, американской грудью, серебряными туфельками, — со всем этим импортом материала и форм, — явно расходятся с целью.

— Привет, Самуэль, — раздалось рядом. Ему улыбался Педро Гешвиндер — не очень молодой человек с усиками и с барышней под рукой.

— Здравствуй, — ответил Сэм. — Добрый вечер! — Иржинка рядом оцепенела. — Это моя кузина, — представил он ее и тут же с иронией подумал: он торопится отбросить подозрение в ужасном вкусе.

— Мне очень приятно. Жофа Бернатова, — представилась сладким голосом барышня Гешвиндера.

— Кочандрлова, — пропищала Иржинка.

Педро улыбнулся ей и обольстительным голосом назвал себя:

— Бедржих Гешвиндер.

— Кочандрлова, — снова пискнула Иржинка, и

Сэм заметил, что она покраснела. Заметил лишь он. Другие не могли видеть этого на батрацкой коже помещиковой дочери.

— Где же Гиллмановы? — спросила барышня Гешвиндера, дерзко глядя Сэму в глаза. «Я тебя не знаю, а ты все обо мне знаешь, курица?» — мысленно произнес он, а вслух ответил холодно:

— Должны прийти. Ждем.

— Роберт — по-прежнему такой активист или у него это уже прошло? — спросил Гешвиндер.

— Еще не прошло.

— Удивительно, как это Ирена терпит, — произнесла барышня.

— Очевидно, ей это не мешает, — ответил Сэм и оглядел зал. Он не беспокоился: пунктуальностью Ирена никогда не отличалась.

— Роберт всегда был бараном, — философски продолжал Педро. — И когда-нибудь его повесят.

— Кого? Роберта? Ты меня рассмешил! — возразила его барышня.

— Ну так начинай смеяться, Жофи, — повернулся к ней Педро. — Не забывай, что он был в комиссии, когда выгоняли Гарика, этого старого, классово сознательного капиталиста.

Барышня улыбнулась:

— Ирена его отовсюду вытянет. Она знает хо-

ды.

— Если он ей будет еще нужен к тому времени.

— Ну что ты, такая любовь! Три года они уже вместе, да и поженились, когда Роберт был круглый ноль.

— Ну что ж… — Педро выразительно замолчал. Он встречался с Ireной еще до Роберта. С ее семнадцати лет до двадцати. Почти три года. Сэм подумал, что барышня Педро, вероятнее всего, не знает об этом. А ее кавалер продолжал: — На Гарика Ирена не сможет повлиять. На любого другого, пожалуй, да, но Гарик когда хочет отомстить, так он и Клеопатру укротит…

Сэм перестал прислушиваться к их болтовне. Его всегда немного злило: говорят об изменении политической ситуации как о чем-то несомненном, хотя никто в это особо не верит. Или, может, только я один не верю? Нет. Ирена тоже. «Это очевидно, — говорит его единственная Иренка. — Ошибка не в большевиках, а в нас. Мы все пропитаны тщетой, я это знаю, но не могу ее себе помочь. Я знаю, что коммунизм — прекрасная вещь, для девяноста девяти процентов — идеальная, но мы принадлежим к этому одному проценту, а для нас это не так». А когда Ирене становилось грустно или пусто на душе и она

сетовала, что никогда не видела моря и вряд ли когда-нибудь увидит и в Африке ей не бывать, — он утешал ее словами, которые ей приятно было слушать: подожди немного, коммунисты проиграют, и в нашей семье будут деньжата, и я все устрою, мы все поедем туда, и Роберт с нами; но Ирена этому не верила: «Не проиграют, — говорила она, — коммунисты обязательно победят, они всегда побеждали, и это хорошо, что они выиграют». Он же начинал развивать свою теорию, придуманную для того, чтобы Иренка не грустила: «Я знаю, что они в конце концов выиграют, но не сейчас. А это столетие будет веком Америки, и мы еще поживем своей жизнью, — увидишь, Ирена. А после нас пусть приходит социалистический потоп; большевизм — это, конечно, правильно и нужно, пусть приходит, но после нас».

Это были, само собой, лишь успокоительные речи для Ирены, когда ее одолевала хандра. Но потом, наедине с собой, он опьянял себя этим всерьез. Американцы все же могут победить в войне. Но лучше, чтоб их победа была лишь временной. Достаточно почитать Маркса: он, пожалуй, во многом прав, с этим нужно согласиться. Было б неплохо, чтобы после победы американцев в бу-

дущей войне к власти пришли социал-демократы или какие-нибудь просвещенные либералы; пусть торжествует социальная справедливость, но пусть останется частная собственность, чтобы можно было иметь деньги, ездить по Европе, бывать в Париже… Ну и так далее. Как-то так все устроить, чтобы Роберт со своей партийной позицией знающего все ухмыльнулся над этой реакционной утопией, а он, Сэм, избавился бы от Бертика за его грешки в ревизионной комиссии. Хотя бы на десять лет. Потом бы Ирена сказала свое слово. Без всяких сомнений. Десять лет она не выдержит.

Внезапно Иржинка выскользнула из его руки. «Простите!» — услышал он ее голосок и увидел, как она бежит среди фланирующих пар, словно стельная корова, и здоровается с какой-то дамой. Он узнал эту женщину. Алена Байерова, а с ней — какой-то новый мужчина в очках. Улыбнулся Иржинке, поклонился, и вся троица направилась к Сэму и Гешвиндерам.

— Добрый вечер, госпожа Байерова!

— Добрый вечер, господин Геллен. — Она очень приветливо улыбнулась Самуэлю. В ее лице он увидел что-то неопределенное, несимпатичное, какую-то тщательно выделанную красивость. —

Доктор Гавел — господин Геллен, — представила она мужчин.

— Очень рад, — ответил мужчина в очках и поклонился.

— Господин Геллен на медицинском, — сообщила Алена своему поклоннику. Тот приподнял брови.

— Да? — произнес он после некоторой паузы. — И где вы сейчас?

— На хирургии.

— У Ирашека? — спросил доктор с явным отсутствием интереса, и между ним и Сэмом начался пустой диалог — точно такой, подумал Сэм, какой ненавидит Ирена.

— Да, — сказал Сэм.

— Там еще работает ассистент Лёбл?

— Да, есть, — ответил Сэм. А что с ним может быть? — подумалось ему.

— Я с ним учился.

— Что вы говорите!

— Мы защищались с ним вместе.

— Ага.

Последовала краткая пауза, потом продолжение:

— О специализации уже подумали?

— Хотел бы остаться на хирургии, — ответил

Сэм, думая в этот момент об Ирене.

— Хороший выбор. А я прохожу сейчас аттестацию по отоларингологии.

— Это как раз для него — там можно постоянно в чем-то ковыряться, да, Отто? — Алена внесла в беседу шутливую нотку и устремила на доктора профессионально влюбленный взор. Вся группка рассмеялась.

— Аленка ничего в науке не соображает, — подхватил эту ноту доктор Гавел. Шутки продолжались, но Сэм вдруг почувствовал чей-то взгляд. Быстро осмотрел зал, ибо верил, что телепатия существует. Белые, черные и розовые пятна дамских туалетов завертелись в калейдоскопе, в центре которого он увидел Ирену в черном платье из блестящей тафты; она, вместе с кислолицым Робертом, шла прямо к нему, совершенно отличная — как это описывают психологи — от всех остальных, прекрасная, как бархатный окунь из черного озера.

Дочь помещика тоже сразу увидела ее, но внимание злорадно сосредоточила на кузене. Стоило Гиллманке улыбнуться, как лицо Сэма поглупело: он раскрыл рот и сразу забыл, где находится. Потом она перевела взгляд на приближающуюся пару. На Ирене Гиллмановой был безупречный

туалет, какого она себе просто не могла позволить: утонченно закрытое, как у монахини, платье плотно облегало тело. И такой вот, говорят, она была и в пятнадцать лет. Ах, у одного есть все, даже сверх меры, у другого — ничего.

Семочку потащило к Гиллманке, но та сама подошла к их кружку. У нее совсем нет бедер, удовлетворенно подумала Иржинка, но радость сразу же погасла: что ей с того, что у Гиллманки нет бедер, когда у нее их сверх меры, а Гиллманка стройна и округла, как Бергманша, и всегда была и будет как Нора. Она представила себе Семочку — как он совлекает с Гиллманки это платье из тафты. Семочка тем временем здоровался с Гиллманкой, а Роберт Гиллман тащился за своей женой как тень. А он довольно симпатичный парень, губы немножко как у негра, но симпатичный. Она следила, как Роберт подает руку Семочке и как при этом замерзает улыбка на губах Роберта; потом Гиллманка подала руку ей и покровительственно бросила:

— Хеллоу, Иржинка! — и ей захотелось влепить Ирене пощечину, как когда-то — вцепиться в лицо Норе, соблазнительной, молочно-белой Норе. Она заметила, как Гиллманка, чуть заметно ухмыльнувшись, пробежала глазами по ее наряду.

Ненавижу тебя, корова! Но ей уже пожимал руку Роберт Гиллман, и глаза его были понимающими, словно таково его призвание.

— Как вы себя чувствуете? — мягко спросил он.

— Спасибо, хорошо, — враждебно ответила она, но он не заметил. Он что, решил позаботиться о ней, болван?

— Как дела у Женки и Фифи? — продолжал он.

— У них солитер, — ответила она. Возможно, он понял.

Тем временем из зала донеслись звуки джаза, и Алена начала подергиваться. Эта коза всегда изображает из себя темпераментную даму, которая усидеть не может, когда звучит джаз.

— Пошли, молодежь, — воскликнула Алена и повесилась на своего доктора. Дочь помещика обернулась к Семочке, но тот ее не замечал: они с Гиллманкой словно купались в глазах друг друга. Гешвиндер что-то рассказывал, Жофка хохотала, а этот баран Семочка уставился в глаза Гиллманки, словно искал в них второе дно. А та, точно так же, — в его. Иржинка боролась с искушением повеситься на Семочку и эту радость ему испортить. Если ты уж идиот настолько, что хочешь быть со мной галантным, так будь же! Схватить его под мышку и сказать с доверительностью кузины:

«Пошли, братец!» — но она сразу же поняла, что ничего подобного не скажет, а только пискнет срывающимся голосом, потому что Семочка вспыхнет ненавистью, а она будет казаться себе отвратительной и придет в ярость — на него, на себя, на весь мир.

На своем локте она почувствовала чью-то холодную руку. Это был Роберт Гиллман — вовсе не оскорбленный, возможно, он просто не понимал, что происходит; он артистически мягко произнес:

— Можно вас пригласить?

Ее настолько переполняла ненависть к Семочке, что она не успела перенести это чувство на Роберта.

— Пожалуйста, — ответила она, и они отправились по мраморному полу вслед за Аленой и доктором Гавелом.

Двери в большой зал были раскрыты настежь, а за ними уже белели балетные платья танцовщиц, открывавших бал. На подиуме большой оркестр Карла Влаха в светло-серых пиджаках мягко трубил увертюру. Белый островок балерин застыл посреди огромного зала, освещенного хрусталем сверху, а снизу — блестящим паркетом. Все эта сахарная сцена напоминала торт рококо.

Ах, благородный бал! — думала дочь помещика, и на какое-то мгновение ей показалось, что она в другом мире, в мире Норы или даже в мире, который мог быть Нориным лет двести назад, где Нора, или она сама в образе Норы, была не жалкой студенткой Института иностранных языков, но графиней, а этот бал давался в ее честь, при свечах, и, хотя перед ее глазами симметрично дергались короткие платья на стройных попках, она увидела эти свечи, — не здесь, на балу, а в музыкальном салоне тополовского замка, — и графиню Гризельду за пианино, некрасивую, с мужицким лицом; и услышала неистовые звуки рапсодии Листа, извлекаемые шляхетной рукой с благородным чувством, — нечто иное, господа, нежели то, что фальшиво и дисгармонично бренчит Семочка в их радлицком салоне. Ах, старая, милая, удивительная графиня, — бог знает почему она вспомнила ее и те дни, когда отец был приятелем господина графа, а она, великопоместная барышня, была не толще, не страшнее, не несчастнее дочери управляющего или дочери учетчика и вообще всех этих стаек девчонок, которые в детских платьицах и в маминых платочках тянулись по длинному мглистому краю осеннего поля к графскому дворцу; она вспомнила

те времена, когда переворачивала ноты молодой графине, и страстно любила ее, и ездила с нею вдвоем на ее кобыле Базуле, упираясь спиной в ее плоскую грудь и чувствуя, как лопатки Базули ритмично движутся под ней; вспомнила она и графа Гумпрехта, которого застрелили немцы за то, что он пылко утверждал свою чешскость, хотя по-чешки и говорить-то не мог толком; и летние вечера в фазаннике, и как удивленно разглядывала она золотоглазых птиц, когда была там на обручении; и бархатную ряску, затягивающую озерцо, которое своим булькающими, таинственными ночными голосами рассказывало сказки. Все это проносилось в ее голове, пока балерины под приглушенные звуки оркестра танцевали на паркете гавот; и ее охватила злость, что это все ушло и никогда не возвратится: ни графиня Гризельда, которую посадили работать где-то на Шкодовке, ни ее собственное детское тело, совсем такое же, как и остальные детские тельца, без этих ужасных грудей, без постоянных мыслей в голове — только очарование фазанником, дворцом и жизнью.

Она отвела глаза от танцовщиц и осмотрелась. Семочка уставился на стройную шею Гиллманки, которая рассматривала танцующих. Кадык

Семочки двигался вверх-вниз, и у дочери помещика взорвался в груди мелкий презрительный смешок: разве что слюнки не текут, как у тех муниципальных старичков в Задворжи! Она молниеносно повернулась к Роберту и успела заметить злость и страдание на его лице: он тоже следил за кадыком Сэма. Увидев глаза партнерши, Гиллман тут же светски улыбнулся ей. Идиоты они все, что Роберт, что Семочка! И эта шлюха Гиллманова!.. Но почему, собственно, идиоты?

Она отчаянно смотрела на ножки балерин, открытые до самого паха в вихрении платьев, на стройные талии в трико, на груди, такие же крепкие, как полушария Норы… Зубы ее сжались на густо накрашенной губе. Роберт, Семочка… И самое страшное — то, что они вовсе не идиоты.

Франци притащился к пианино и начал клянчить:

— Эмиль, настрой мне!

Эмиль Зеттнер, которого звали Зеткой, слегка повернулся к нему и бросил «щас», но потом Франци видел только набриолиненные белокурые волосы Зетки и его спину в черном пиджаке, а также торчащие уши и носатый профиль Клавеса, которому капельмейстер что-то показывал в нотах. Франци оперся задом о клавиатуру, при-

поднял саксофон и уставился в пустой зал. Внизу, перед подиумом, стоял розоволицый Бунни с перламутровым грифом белой гитары-«гибсонки» в одной руке, а другой пытался прикрепить белую розу к груди своей девушки Лидии. Лидия, одетая в светло-фиолетовое платье, притворно сопротивлялась, но потом уступила; они, как всегда, потискались на глазах капеллы; потом, как обычно, Лидия будет весь вечер сидеть около оркестра или танцевать с парнями из Института, но всегда так, чтобы оставаться поблизости. Франци снова, как и всякий раз, когда ее видел, вспомнил легендарный вечер после войны, когда он лежал с нею в постели в пустой вилле родителей Бунни, а под кроватью крепко спал Бунни. Он не помнит, но, возможно, она даже целовала его. Вполне могло быть. Он всегда удивлялся ее уступчивости в тот раз, хотя вспоминал, что он и Лидия были пьяны. Такой уступчивой она больше никогда не была, а он после того случая все чаще напивался как по причине ее неподатливости, так и из-за саксофона. Но все же главным образом — из-за Лидии. Да. Естественно. А что делать, если у Бунни физия, как у Эдди Кондона, и он классно бренчит соло на снежно-белой «гибсонке» и клево танцует: его ноги и ноги Лидии, способные

прямо-таки артистически вытоптать буги-вуги в комнате Бунни, роскошные танцевальные ноги, роскошные пловаренские ноги Лидии, великолепное буги Эмиля Зеттнера за фортепьяно; он с грустью уставился на блестящий корпус своего тенора, но Зетка вдруг обернулся: ну, давай, — и ударил ля. Франци быстро сунул в рот мундштук, чувствуя на себе презрительный взгляд Зетки, свое краснеющее лицо, когда неуверенно выдул тихий мычащий тон и нервно ожидал реакции капельмейстера. Тот отозвался сразу.

— Выше! — яростно заорал он, и Франци быстро завертел кольцо трости, несчастный оттого, что не слышит ничего, кроме раздраженного Зеткиного «Выше! Еще выше! Еще!», и даже не понимает, повышается у него тон или снижается; потом его облило краской, он испугался, не вращает ли он кольцо в другую сторону; он сжал губы как можно сильнее, всей душой потащил это отчаянное мычание вверх, трость уже дальше не шла, уперлась в бакелитовый мундштук; пролетела вечность, прежде чем набоб удовлетворился или, сдавшись, притворился удовлетворенным, и Франци пошел на свое место, решив, что уже не будет настраиваться вместе со всеми, раз он уже готов; он надеялся, что его не будут терзать, — он

ведь прекрасно знает, как это бывает; и в то же время его грызло, что терзать его не будут, зная, какой из него жалкий саксофонист, и на него махнули рукой.

Он уселся за невысокий пульт с большими буквами ЭЗ спереди, открыл ноты и тихо, про себя начал проигрывать сумасшедшие, невычислимые, неосязаемые пассажи в специальной аранжировке Алекса Лёвенбаха, первого трубача оркестра Зеттнера. Кокетливый спор у подиума вокруг розы продолжался и завершился в конце концов, когда вместе с розой в вырезе платья Лидии очутились и длинные пальцы Бунни. Боже, что могут мои пальцы, не способные даже нажать толком клавиши саксофона, в сравнении с пальцами Бунни, которые виртуозно терзают шестерку металлических струн и ласкают перламутровый гриф, словно ребра Лидии в купальном бассейне? Что могу противопоставить ему я, Франтишек Стодола, по милости судьбы, из товарищеских чувств и из-за собачьей преданности джазу — четвертый тенор-саксофонист свинг-бэнда Зетки?

Все, абсолютно все сложилось не так, как я себе представлял, думал Роберт Гиллман, глядя на свою замечтавшуюся жену и замечая плотоядный

взгляд Сэма Геллена, а перед его глазами кружились туманными пятна танцовщицы. Никогда в жизни, а в последние пять лет — особенно, ему не хотелось иметь дела с этими вот снобами, и все же каким-то образом — черт знает как! — ему приходится с ними сталкиваться постоянно. Отродясь он не мечтал о состоятельной, изнеженной супруге — и вот на тебе! — именно на такой женился и позволяет ей сейчас наставлять ему рога. Она, конечно, утверждает, что с Гелленом у нее ничего не было, но кто в это поверит? А этот Геллен, наглядный пример золотой молодежи… Если бы, по крайней мере, она не выбрала такого фата, если б не лгала без зазрения совести всякий раз, когда ее прижмешь! Она явно ему изменяет, а у него не хватает сердца избить ее или же твердой воли — ее оставить. И это называется коммунист!

Он с отчаянием думал, что именно это отнимает сейчас всю его энергию. Эти мысли. Эти проблемы. Его — Роберта Гиллмана из кадровой комиссии партийного комитета. Он всегда высмеивал всякую шушеру, экзистенциалистов из Огнице или фрейдистов из Пражского психоаналистического кружка, а сейчас сам бы мог послужить им материалом для исследований.

Он, который писал язвительные статьи о Сартре и Хаксли, о Камю и Ануе еще до революции. Ирония судьбы: теперь о нем самом могут написать грязное экзистенциалистское исследование, и, что самое страшное, оно будет правдой. С ужасом он сознавал, что несчастлив, несчастлив без всяких оговорок, — именно сейчас, когда, по словам поэта, мы «что хотели, то имеем». Или, по крайней мере, начинаем иметь. Оправдать его могло только то, что это пока начало. И все же нет, не оправдывает: чего бы он только ни отдал тогда, во время первых послевоенных выборов, за то, чтобы ситуация в республике была такой, как сейчас. Тогда не было ничего важнее выборов, собраний и выступлений — в селах, с борта грузовика. Думал ли он тогда вообще об Ирене? Думал ли о ней на факультетских собраниях, когда шли боевые голосования, когда борешься со сном и усталостью после тридцати-сорока часов заседаний, но не борешься с самим собой, — и в конце концов вместе с товарищами побеждаешь?

Он воспринимал происходящие события как заранее запланированные, и все у них получилось, подтверждая мудрость и научную прозорливость партийного руководства; а сейчас он — ревнивый муж молодой буржуазной дамочки, мучается ее

неверностью и ее ощущением пустоты жизни. Какая мерзость! Какими жестокими оказываются (так да или нет?) эти экзистенциальные категории!

Он посмотрел на нее: она разговаривала с Иржиной, в неестественно больших глазах ее отражались люстры, а из глубины глаз сверкали изумруды. Не будь она такой прекрасной или не будь она дурой, а будь лишь красивой буржуазной гусыней, он мог бы, по крайней мере, что-то с нею сделать. Но она вовсе не гусыня, она понимает, что происходит, Маркса знает даже лучше, чем большинство партийцев; знает, что партия занята нужной работой, что это новая жизнь, новая философия. Со всем этим она согласна, но потом с женской логикой, от которой с ума сойти можно, вдруг заявляет: «Но ведь эти коммунисты — дураки, здоровые, оптимистичные дураки и, как я лично убедилась, в большинстве — негодяи», — и можно часами ее убеждать, что и в партии есть отдельные бесхарактерные люди, особенно среди знакомых ей лично, но из-за этого нельзя отказываться от идеи, ибо она является выражением железных исторических закономерностей, а эти люди не в состоянии запачкать идею. Ирена в конце концов вздыхает:

«Я понимаю, но ведь все это тщетность». — «Что тщетность?» — «Все», — отвечает Ирена, и он уже не отваживается продолжать ни о прекрасном будущем, потому что для Ирены это будущее — лишь морщины и старость, — ни о труде, ни о смысле жизни, ибо эти рассуждения для нее — полная и совершенная тщетность.

Тщетность? Ну да. Можно допустить, пожалуй, существование чего-то подобного в жизни. И кто знает: может, эти рассуждения о смысле жизни действительно тщетны — да! да! конечно же! — в мыслях он заорал на себя. Опомнись! Конечно же, это так, и вся эта мерзкая неуверенность — лишь наследие прошлого, среды, влияния, классовой принадлежности; он говорил себе эти слова как заклинания, с яростью глядя на свою жену, на ее глаза, похожие на подводные окошки, на стройную фигурку в черной тафте, на ее белый гимназический воротничок, — и сквозь все то, чем она была, он видел главное: она прежде всего — красивая женщина, воплощение «того, что он с ней делал», как она это называла. Его лихорадочно затрясло, надежда зашептала, что ее можно изменить, ибо все ее слова — лишь игра, ее прихвостни — тоже; ведь когда хочет, она умеет быть нежной любовницей, и он потом

лежит рядом с ней, обессиленный и счастливый… Но может ли это быть постоянным счастьем? Или это тоже нечто утонченно-буржуазное? Чушь! Он ужаснулся при мысли, что похож сейчас на героя реакционных буржуазных анекдотов, но уверенности ему это не прибавило: ну да, иногда ему действительно кажется, что с Ireной это, ну, не так, как вроде должно быть — черт его знает! — естественным, здоровым? У Ирены странные эротические запросы — рафинированные или же — *без чистого чувства любви.* Люди, кто это написал? Ян Дрда?[10] Где-то он это читал. А у него — при «том, что он делает с Ireной» — есть это чистое чувство любви? Проклятье! Есть ли вообще чистое чувство любви при совокуплении? И что это такое — чистое чувство любви?

Возможно, — начал вспоминать Роберт, — оно было вначале. Когда он увидел ее в первый раз на фортепьянном концерте в Книговне, слегка взлохмаченную, в темно-синем платье, с таким же белым воротничком, который всегда был у нее чем-то вроде эмблемы; Роберт сидел за ней, не слушая музыку, и смотрел на ее немытую шею, а когда в антракте она достала спичечный

[10] Примечания: 10

Дрда, Ян (1915–1970) — чешский писатель, автор социально-психологических романов и антифашистских произведений.

коробок и дохнула в него, он вытянулся, чтобы посмотреть, что там у нее, и увидел в грязной вате божью коровку (дело было в феврале), — тогда именно, над той коробочкой, его охватила глубокая нежность.

Наверное, тогда это и было чистым чувством любви. Он… — впрочем, чушь все это! Эротика — совершенно естественная, материальная сторона жизни, божьи коровки тоже этим занимаются, и у него *есть* чистое чувство любви, чистейшее чувство любви к Ирене; просто Ирена, к несчастью, — скептичная буржуазная девушка, и с этим ничего не поделаешь.

Он снова посмотрел на нее и снова почувствовал свое бессилие. Ей присущи все самые худшие свойства ее класса — его класса, класса, с которым он хочет порвать и с которым порвет. Порвет! Он сжал зубы. А ее перевоспитает! Революция в людях так же крута, как и на улице, только сложнее и длится дольше. Ее цель — сохранение, а не уничтожение человека. Даже если люди того не заслуживают. Даже против их воли. Но он любит ее, Ирену, этот осколок скверны. И переделает ее. Это его конкретная, индивидуальная задача во всеобщих задачах партии. Она — всего лишь один-единственный человек, но вожди

революции не пренебрегали никем, даже самым последним, пока в нем, как сказал Маяковский, была *«хоть какая-то общая с коммуной черта»*. Есть она в Ирене?

Он снова сжал зубы и потряс головой. В каждом человеке она есть. Только бывает завалена слоем разной дряни. Непримиримо, свирепо смотрел он на жену. Ну погоди, милочка! Скоро избавимся от господина Самуэля, от американских балов, от Сартра и тому подобного. Подожди только! Пройдут у тебя эти тщетности, я об этом позабочусь, говорил он с иронией, как когда-то с грузовика; и вдруг он ощутил на себе неприятный, насмешливый, упорный взгляд голубых глаз толстой девушки возле себя; лицо его вспыхнуло, он быстро повернулся к ней, улыбнулся без всякой цели; девушка отвернулась, а он почувствовал, как улыбка вянет на губах, почувствовал испарину, ему стало неловко, и он уже не знал, действительно ли перевоспитает Ирену и будет ли в каждой ситуации коммунистом — телом и душой, — или же Ирену ему не переделать никогда.

Ей казалось, что высоко над коленями ее приятно щекочет подол хитона и что открытыми глазами она видит священное, тихое пространство зрительного зала Виноградского театра, в

котором теряются вдали бледные головы зрителей, а она танцует легко, босиком, хитон обтекает ее бедра, ноги обнажены. В то время, правда, представление шло в народных костюмах, и под сценой играл небольшой смычковый оркестр, но в студии мадам Мышаковой танцевали в хитонах и под фортепиано, и острый голос мадам колол в спину. Она смотрела на группку балерин перед собой; вот среди них Эвита с толстым задом, в грязном хитоне, — интересно, что привело ее сюда: искусство, желание похудеть или просто любопытство; и Адина, которая здесь явно потому, что здесь Ирена; и тщеславная, упорная Флер, Флер Марти — Квета Мартинцова, она сейчас ведущая солистка в Народном театре, танцует принцессу в «Щелкунчике» Прокофьева, пронырливая, упорная Флер, в то время как она, Ирена Гиллманова, лишь стоит и смотрит, и на душе у нее грустно и пусто.

А у нее тогда все получалось гораздо лучше, чем у этой натренированной пролазы, лучше, чем у Флер, но оказалось плохо с сердцем — и на этом все кончилось. Кончилось. Кончилось все, ибо это было единственное, что она когда-либо умела, чему стоило отдать жизнь. Единственное, к чему можно относиться серьезно, что можно по-насто-

ящему чувствовать — ногами, телом, душой, как эта толстая Айседора Дункан, которая наболтала кучу мистической чуши, но действительно это чувствовала.

Чувствовать жизнь, идя на Платнержскую улицу, по темной лестнице с проволокой на стене вместо перил; намазанные, разодетые девчонки, которые потом снимают с себя в гардеробе всевозможные причиндалы: и пояса с подвязками, и кружевные комбинашки, — кружевные, несмотря на то, что идет война и они целый день ходят в розовом трикотине; разные девушки в хитонах: и стройные, и худые, и толстые — послушно машут ногами и с оханьем виснут на шведской стенке. И старая Дункан из Зальцбурга, которая однажды нанесла нам визит, сморщенная, сухая, накрашенная; мадам Мышакова ее угощает довоенной вишневой наливкой, усаживает в кресла и представляет свой ансамбль, яростно шипит при этом на Эвиту, пируэты которой напоминают вращение оторванного колеса деревенской арбы, — разве что без грохота; старуха Дункан спрашивает надтреснутым голосом: *«Wollen Sie turnen oder tanzen ?»*— и девчонки, как гусята, пищат, перебивая друг друга: *«Танцен, танцен!»* Сморщенная прима-балерина с четверть часа

бросает им перлы своего опыта, а Флер ластится к ней, задавая на ломаном немецком страшно почтительные и страшно глупые вопросы. А соло в «Славянских» танцевала потом именно она, Ирена Гиллманова, тогда еще не Гиллманова; хотя у Флер были и время на тренинг, и тщеславие, и домашняя учительница, у Ирены — божий дар, и Мышакова любила ее и гордилась ею. Но — увы! — обнаружилась болезнь сердца, и тщетность ухмыльнулась ей и в этом единственном деле, ради которого она бы, пожалуй, смогла жить по-настоящему и стопроцентно, — и только одна, без мужчины. Наверное, так на небе решено, что Ирена Гиллманова не может быть ничем иным, а только именно Ireной Гиллмановой, созданной для того, чтобы мужчины сходили по ней с ума и как сумасшедшие требовали от нее этой дурацкой, неинтересной вещи. Она не смогла стать прима-балериной, но навсегда должна остаться выдержанной женщиной, женой, и никаких тебе хитонов, никакой славы, никаких почитателей, которые отваживаются на большее, нежели поцеловать руку и принести цветы. Ах, в эту минуту ее не тешила ни мысль о милашке Сэме, ни даже вид молоденьких девушек в розовых платьях вокруг, — ее лишь приводили в отчаяние эти то-

порные танцовщицы, не понимающие, с чем они связали свою жизнь. За собой она чувствовала Сэма и собачий, ревнивый, упорный взгляд Роберта. Ах, ничего они не знают. Ничего. Ничего.

Они стояли в глубине большого зала, за обнаженными спинами дам в вечерних туалетах, сплоченные, высокомерные — музыкальная элита; он тоже был ее частью и поэтому чувствовал превосходство над остальными; но в элите он был слабейшим звеном, и это огорчало его. Жадными глазами, в которых были и посвященность, и снисходительность, они смотрели на танцовщиц. Ему тоже хотелось смотреть на балерин, но глаза его неодолимо притягивал оркестр. Золотые корпуса батареи саксофонов выводили там хрупкий ритм свингованного гавота для очаровательных шажков профессионально гибких девушек; мягкая, приглушенная музыка и пальцы музыкантов, эти пальцы на клапанах, то вспыхивающих сиянием, то угасающих; высокие плечистые парни в серых пиджаках, губы их плотно сжимают металлические мундштуки, они словно срослись с саксофонами, со всей этой музыкой; а за ними ритмически втягиваются и вытягиваются поршни тромбонов — рыдающие, нежные, сочные аккорды, словно

в алебастровом космосе вибрируют стеклянные шарики звездных сфер. Боже, если он называется саксофонистом, то кто же тогда они?... Тут он увидел золотистую головку Лидии Чериховой, американские очки Бунни; голос саксофонов заглушили трубы, балерины застыли рококошными изваяниями, маленький капельмейстер начал раскланиваться, и Франци, преследуемый аплодисментами толпы, отправился навстречу четырем часам добровольного отчаяния.

Они молчали, он лишь смотрел в лицо испорченного мальчика с зелеными глазами. Молча танцевали слоу-фокс, и он знал, что нет на свете глаз прекраснее. Психологи и это описали. Достаточно нескольких шагов — Ирена возбудила его, как всегда, и, как всегда, страшно, одно ее присутствие, малейшее прикосновение. Потом каждый раз возникала сильная боль, о которой он, конечно, говорил Ирене, как всегда и обо всем, и она всегда жалела его; он извивался возле нее в отдельном кабинете «У Мышака», угрожал ответственностью за воспаление желез, а она лишь заговорщицки жала ему руку: «Сэм, милый, ну освободись от этого сам, иди вон в туалет... Господи, я бы рада тебе помочь, но не могу, ты же знаешь». Когда он проанализировал ситуацию

психологически, ему стало ясно, что это — компенсация копулятивной активности вербальной активностью, тоже вроде бы описанной у Кинси, однако моноандрический комплекс Ирены еще не подвергся исследованию. И на мне, убеждал он себя, лежит обязанность описать его. Вот на Ирене я, по крайней мере, реабилитирую себя, ибо в свой мир она меня не пускает. *Моноандрический синдром,* ухмыльнулся он, *и его связь с нарушением...* с нарушением здравого смысла, описанный в литературе как эротическая инфатуация. Ах, — вздохнул он почти вслух, обнимая в танце упругое тело Ирены Гиллмановой среди благоухающих пар на зеркальном паркете Дома приемов, — у него связь лишь с нею, но не с ее телом, лишь время от времени ему удавалось поцеловать ее крашеные губы, провести рукой по приятным маленьким грудям, но не больше, и то лишь иногда — очень редко, к сожалению.

Тело Ирены Гиллмановой. Она говорила всегда: «Если б я была толстушкой, вот бы ты любил меня!» — а он откровенно или скорее тактично отвечал: «Но ты ведь не толстая, Ирена, а внешность нельзя отделять от души, это неразрывное целое, и без этого тела ты была бы не ты; так же и с душой. Это называется холизм...» — «Но что

же тогда, собственно, является испытанием любви? — допытывалась Ирена. — Меня бы задело, если б ты не любил меня толстую и некрасивую…» — «Но это была бы уже не ты», — настаивал он. — «Нет? А что же тогда я такое? А-а, знаю! Если бы я была той же самой, но глупой, ты все равно бы любил меня, и это тоже меня задевает». — «Я бы любил не тебя, а только твое тело». — «Значит, ты любишь мою душу», — рассуждала она. — «Твою душу в твоем теле», — поправил он ее. Вот так они и вращались в замкнутом круге вербального суррогата, и он понял наконец, что любит ее за это уникальное соединение, именно потому, что тертуллианская мудрость здесь не в замшелой книге, а в мальчишеском теле с порочно красивым лицом, а он поддался соблазну этих огромных глаз и сейчас преданно заглядывает в них:

— Ирена, я тебя страшно люблю!

— Это хорошо.

— Ужасно!

— Ну хорошо.

— Ирена, ты меня любишь?

— Ты же знаешь.

— Так скажи!

— Что?

— Что ты меня любишь.

Она приблизила свое лицо к нему и тихо произнесла:

— Я тебя люблю.

Это была сказочка, религиозный диалог, который они вели всегда, в любой ситуации, каждый раз. Сейчас они молча танцевали вокруг оркестра, на них мечтательно глядела девушка в светло-фиолетовом платье, с белой розой в вырезе, их обтекала толпа в дорогих нарядах, и Самуэля вдруг заполнило ощущение вечности, солидной и красиво нейтральной. Потолок зала Сметаны, залитый светом, казался неподвижным, нестареющим, как и в те времена, когда его легендарный дед-архитектор, во фраке и с цилиндром в руке, слушал торжественную речь пана бургомистра, который передавал пражской общественности этот дом. Та же кремовая и позолоченная лепнина, тот же хрусталь тяжелых люстр над большевиками, как и над золотыми дужками очков его отца, когда он в году тысяча девятьсот двадцатом познакомился с Анитой Кудрначевой, дочерью консула Кудрнача, на балу медиков, с чего и началась цепь событий, пиком которых было рождение Сэма Геллена, о чем мир был извещен маленькими визитками: *«Доктор Павел Геллен с супругой Анитой сообщают о*

рождении сына Самуэля».

Да, потолок не изменился, но все остальное преобразилось до неузнаваемости. Чем же было тогда то, чему положено быть индивидуальным, что старые господа делали честно и порядочно? Чем были эти представительные бараки, это множество домов с башнями на набережной? Почему большинство детей, наделанных в этих домах, — абсолютные недотепы? Конечно, это вопрос риторический, размышлял он, я кое-что читал у Маркса, и не только потому, что его нужно было цитировать в реферате по физиологии. Знаю, почему и как. Но не странно ли наблюдать, как марксистские клише соответствуют реальности — по крайней мере, реальностям нашего рода? Он представил себе деда, каким он был до паралича: высокий, краснолицый, с белыми усами, как у моржа; смутно помнил свои забавные визиты в обширную старомодную квартиру над Влтавой, залитую ленивым полуденным солнцем, бой множества часов и резную мебель; вспомнил плюшевые кушетки и стулья, у которых в том месте, где должна прилегать спина, был острый выступ, — для того, наверное, чтобы сидеть прямо; и тяжелые, обильные ужины, вино в граненых бутылках; вспомнил мать, которая

склонялась над ним с ложечкой питательного супа, когда ему не хотелось есть, и деда, который при этом всегда приговаривал: «Тот, кто супчик доедает, не погибнет на войне», — деда, который ежедневно играл в бильярд в «Ротари-Клубе», входил в правления десятков различных обществ и союзов, национальных и международных, патриотических и космополитических, и о его карьере — от мелкой сошки до рыцарского титула Австро-Венгерской империи — рассказывали легенды в поучение детям.

Это было первое поколение, так называемые «молодые», боевая, хищная молодая буржуазия, которая принесла передовые технологии: дед хвастал, что половина Виноград построена им. Потом пришло второе поколение, рожденное в роскоши; достижения отцов оно приумножить не смогло; в нем столкнулись положительное и отрицательное, хищность и вялость, и ничто не возобладало. Вот, например, гинеколог, доктор наук Павел Геллен, занимавшийся опухолями яичников и внематочной беременностью, глухой и слепой ко всему остальному, кроме периодических любовниц; от них он энергично избавлялся через пару месяцев, и они это сносили. Уже никаких обществ, ни отечественных, ни зару-

бежных, самое большее — Международный союз гинекологов. И его брат, инженер-архитектор Карел Геллен, бывший владелец фирмы «Иоахим Геллен и сын» — ныне служащий Чехословацких строительных заводов, проектировщик в конструкторском бюро. Ну и, наконец, притащилось третье поколение, разложившееся, падшее, растрачивающее свою молодую жизнь на интриги с чужими женами, поколение без цели, без амбиций, без здоровых политических и любых других моральных принципов. Короче говоря — он. Самуэль Геллен. Довольный, что все идет как по писаному, само собой, и это довольство для него — утешительное доказательство упадка. В окружающей толпе он снова увидел кузину Эву и ее сеньора, который беспардонно почти лежал на ней. Он знал, что его кузины, особенно симпатичные, всегда привлекали Ирену, поэтому обратил ее внимание на эту красивую бесстыдницу, позор семьи.

— Где? Покажи мне ее! — сразу ожила Ирена. Любопытно, подумал он, что из его родственников привлекают Ирену именно симпатичные женщины, но не мужчины. Ирена вообще как-то странно восхищается красавицами. Он развернул ее так, чтобы видеть Эву, и держался вблизи

латиноамериканской пары. Сеньор Энрике с подлинно испанской страстью стерег затуманенный Эвин взор, чтобы он ни на секунду не уходил из фокуса его зрачков, а его масленые черные волосы отбрасывали эффектный блеск. А Сэм следил за Ireной: как она испытующе смотрит на Эву Мартинесову, на ее грудь: что из прелестей Эвы — от природы, а что — от заграничного бюстгальтера; насколько широки бедра Эвы на самом деле, когда лишены складок туалета; умна Эва или глупа. Последнее можно было определить сразу. Эву решительно можно посчитать глупой, ибо вряд ли Ирена назовет умной девушку, которая выглядит подобно его кузине, хотя для дураков она может быть гораздо красивее Ирены. Умными могут быть лишь некоторые дамы постарше. Или — по-своему — Иржинка, то есть тонкие души в непривлекательных телах. Но обладательница *калокагатии*[11] только одна — Ирена Гилланова, Прага-Либень, На Гаусманке, 17, подумал он с улыбкой, но потом ирония возвелась в квадрат, ибо он осознал, что и сам в это верит.

---

[11] Примечания: 11

Этот термин ввели философы Древней Греции для обозначения идеального человека, соединяющего в себе физическую красоту безупречного и здорового тела и внутреннее, нравственное благородство, честь и справедливость.

— Она красива. — безразлично произнесла Ирена. А ему захотелось эту умную женщину немного подразнить.

— Ты думаешь? — начал он. — А к тому же и умна. Я тебя с ней должен познакомить.

— Гм, — ответила Ирена, глядя на пани Мартинесову через плечо.

— Знает Сартра и Камю не хуже профессора Черны, — отчаянно лгал он.

— Да?

— И поет сенсационно.

Ирена промолчала. Он попробовал продолжить:

— На факультете она — перед замужеством — занималась сравнительным религиоведением.

Наконец Ирену прорвало:

— Такая уж она умница?

— Конечно.

— А по-моему, дура, — резко произнесла Ирена, но в голосе ее сквозила нотка интеллектуальной неполноценности. Его мгновенно охватила нежность, к которой, пожалуй, весь этот треп изначально вел.

— Раз ты так думаешь… Куда ей, конечно, до тебя!

— Ну да, если не шутишь.

— Нет-нет, я всерьез.

— Ты хочешь мне польстить. Я тебя знаю.

— Нет, я в самом деле так думаю, Ирена.

С минуту она молчала, лишь ядовитой зеленью глаз следила за движениями Эвы. Потом спросила:

— Это ее муж?

— Да, сеньор Энрике Мартинес.

Она молчала, и он добавил:

— Весной они едут в Мехико.

Снова молчание.

— У его деда — этого Мартинеса — там хасиенда. Эва уже получила от него посылку с мексиканским национальным костюмом.

Без ответа.

— Он ей очень идет.

— Знаешь что? — сказала она вдруг, и он почувствовал, что сбивается с танцевального ритма. Она посмотрела ему в глаза и произнесла тоном маленькой девочки: — Пусть ваша Эва поцелует меня в попку.

Профессор долго пытался утопить свой сплин в танцевальном вихре, последовательно сыграть роль потерпевшего катастрофу, обреченного на смерть в семь утра следующего дня, но этот дурацкий, мучительный факт торчал в черепе

словно ввинченный. Его привлекла какая-то симпатичная одинокая девушка, вынырнувшая из-за пальмы в фойе; но потом он подумал, что возможный флирт не может закончиться свиданием в понедельник, в четыре, у Народного театра, и он почувствовал себя так, словно весь этот хоровод, вся эта праздничная толпа в мраморном коридоре находятся не в нынешней Праге, а в Праге его костелецких видений, из которых он только что вышел в сокрушительную реальность черных зимних утр, когда вместе с другими вынужден был спешить на авиационный завод, где они исполняли противную четырнадцатичасовую повинность по мобилизационному закону.

Но у принудительной работы на заводе был «свет в конце тоннеля» — скорый конец войны. А эта противная повинность неопределенного мирного времени, что начнется у него с понедельника, — иное и гораздо худшее рабство, крепостничество без надежды на сладкую свободу свободы. Останется лишь одна свобода. Та, которая заключена в «осознанной необходимости».

Удачно закрученное иезуитское определение снова возбудило в нем злость, но против него он был бессилен. Оно помогло ему сдать выпускные

экзамены на факультете, который за одну ночь стал кузницей марксизма; но что, собственно, в «осознанной необходимости» марксистского? Что в такой вот свободе вдохновляющего, когда это лишь прогрессивно выраженный его собственный, безошибочный реакционный принцип: когда нужно выживать, делай жизнь приключением. Ограниченная необходимостью свобода, неотличимая от приключения четырнадцатилетнего мальчишки, начатого от безысходности? Ты попался, Монти Бартош, с яростью убеждал он себя, и чем больше будешь трепыхаться, тем сильнее и омерзительнее будешь чувствовать, что попался. Пойми, что с этим ничего не поделаешь, Эпиктет[12] несчастный, пойми эту необходимость, пойми наконец, дурачок, что хотя по закону здесь есть право на труд, но это коммунизм, и право превращается в повинность; пойми это, дорогой, — и ты свободен.

Именно это остается человеку — и так всегда. У тех, кто об этой пикантной форме свободы больше всех говорит на семинарах и лекциях, для себя есть другая, недиалектическая — жить по хотению, по своему хотению, ибо сейчас все

---

[12] Примечания: 12

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — римский философ-стоик.

идет так, как хочется им, а не ему. Те, кто удовлетворен необходимостью естественных законов, приведших эту страну к социалистическому строю, сейчас в этом строе — на ведущих местах, и для Мартинов Бартошей они разрабатывают сверх того еще и специальные необходимости законных предписаний и распоряжений. И обе эти вещи — строй внешнего мира и строй его личной ситуации в нем — должны сливаться в таких предписаниях в единое радостное понятие, являясь источником извечных человеческих мучений, а понятие это облекается в костюмы иной, каждый раз новой, всеобще обязательной философии. И ничего не остается, как только щелкнуть каблуками и уехать в Гацашпрндовичи. Свобода — осознанная необходимость. Да, Монти Бартош. Именно так это можно выразить: главное не то, что тебя ждет, а то, что ты с этим сделаешь; но это уже не марксизм, а гнусный экзистенциализм. Можешь повеситься, можешь щелкнуть каблуками. В зависимости от того, марксист ты или гнусный экзистенциалист. В этом тебе предоставлена абсолютная свобода.

Он спускался по ступенькам вниз, в бар, в это хранилище прекрасных жидких радостей жизни — и сразу столкнулся с прыгающими барыш-

нями в светлом и стилягами в черном. Все эти идиоты останутся здесь ни за что ни про что, ни за какие заслуги, просто по счастливому факту своей ситуации. Мир — не что иное, как огромная несправедливость… По еще более узким ступенькам он свернул влево, прошел под красным фонарем на стене, искусно покрытой грубой штукатуркой, раздвинул плюшевую занавеску и вошел в бар.

Зал еще не был полон, но свет уже застилался густым чадом, все казалось мутно-серым. У стойки сидели спиной к нему двое мужчин. Уже решив оставить в покое свои проблемы, он элегантно оседлал стульчик. Бармен вопросительно посмотрел на него.

— Брэнди, — произнес он с американским акцентом, развернул стульчик и оперся о стол. Потом заметил, что рядом курит сигару Педро Гешвиндер. Сигара в руке Педро смотрелась довольно глупо. — Хэллоу, Гершвин! — окликнул он его, не успев еще ни о чем подумать. Педро кивнул ему своей сигарой:

— Хеллоу, Монти. Как тебе ползается по этой земле?

– *So-so,* — ответил он, развернулся спиной к бару и оперся локтями о стойку. — С кем ты здесь?

— С Жофией, — ответил Педро. У него было провокационно пражское лицо — этот никогда в жизни ноги не высунет из Праги, никто его не заставит, даже если к власти придут троцкисты и закрутят гайки.

— Чем ты занят сейчас, приятель? — спросил профессор, забыв о селе. — Давненько я тебя не видел!

— Сдаю госы. А ты?

— Я тоже, — ответил он и быстро продолжил: — В клуб больше не ходишь, а?

— Времени нет. И до весны не будет.

— Это ты так вкалываешь?

— Ну, как сказать. Есть еще много другой работы, поважнее.

— Ты имеешь в виду… — Профессор выразительно умолк, зная, на что Педро намекает. Тот важно кивнул.

— А будет к весне эта работа иметь какие-то последствия? — с иронией спросил профессор.

Педро ответил не сразу, вынул изо рта сигару и пустил вверх клуб густого тягучего дыма.

— Ну, — произнес он после паузы, — такую работу трудно увязать с точной датой, сам понимаешь.

— Но какая-то надежда есть, по крайней ме-

ре? — настаивал профессор, сжимаясь от своей неполноценности: его никогда не привлекали к таким делам. Золотая молодежь, которая или победит коммунизм, или в нем вызреет, но оставаться с краю не хочет.

— Надежда? — спросил Петр с удивлением. — Это всегда остается. Вера, надежда, любовь. Вера нам не нужна, потому что знаем. Надежда — тоже не нужна, поскольку есть уверенность. А любовь? — Педро взял стакан виски, опрокинул в себя, и профессор заметил, что тот уже слегка пьян. — Монти, дружище, — продолжал он сентиментально, — ты же философ. Как это там… В стихотворении этого еврея.

— В каком?

— Ну, в том, про дождь. И про любовь. Ты однажды читал его, когда мы вымокли на *river party*.

— Стихотворение Кейма?

— Наверное. Как там, Монти?

– *Падает дождь, падает дождь…*

– *…ливень, звени.* Точно. Это оно. Так же и с любовью, Монти, понимаешь? — Он неприятно-доверительно сжимал бедро профессора. — *Падает дождь, падает дождь, ливень, звени,* — декламировал он, — *а я люблю без ответной любви девчонку одну.* — Маэстро, виски без!

— Дружище, что с тобой? — спросил профессор, когда бармен наливал. — Поругался с Жофией? Какую любовь ты хочешь утопить?

— Старую, — махнул рукой Педро, поднося стакан к губам. Потом выпил.

— Ты упьешься. Не валяй дурака, — сказал профессор.

— Молчи! И слушай! Там так хорошо сказано, — всхлипнув, прервал его Педро. — *Не умру от любви, не заплачу от горя. Умру сифилидой.*

— Ты разошелся со своим призванием, — вымолвил профессор.

— Вовсе нет. Но я совершил страшную ошибку, приятель.

— Это с каждым бывает.

— Не с каждым. А я оказался дураком.

— А кто нет?

Педро завертел головой.

— Не каждый, а я. Я всегда был дураком.

— Но послушай…

— И пропустил такую оказию!

— Не болтай!

— Нет, нет. Я знаю. Уже конец. Стоит ей посмотреть на меня — по глазам видно.

— Так кто же она?

Педро огляделся и приложил палец к губам.

Профессор наклонился к нему: разит водкой. Педро обнял его и, всхлипывая, задышал в ухо, потом тихо, с пафосом, начал декламировать таинственным голосом:

– *Клара не стерпит, ее имя есть*, — произнес он и высвободился из его объятия.

— Парень, ты — энциклопедия мировой поэзии, а вовсе не строитель. Откуда ты это выдрал?

— Это все от нее, — трагически продолжал Педро. — Рядом с ней я варвар. А я за всю жизнь не прочитал ни одного стихотворения.

— Кто она? Я ее знаю?

— Ее никто не знает, — завертел головой Педро, — только я. Даже она не подозревает, что ее знаю только я.

— В таком случае это чушь собачья, — сказал профессор и потом лишь молча смотрел на Педро. Тот сложил голову на руки, опираясь локтями о стойку, и сидел живым воплощением горя. Дурак! Куда бы делась твоя мировая скорбь, если б тебе завтра в Гацашпрндовичи! Сразу перестал бы нажираться из-за какой-то там загадочной барышни, любительницы стихов.

Все это риторика: Педро никогда никуда отсюда не поедет. А если поедет — только инженером. Не господином учителем. Да. Мир — лишь одна

огромная несправедливость.

– *Damn,* — выругался он вполголоса, развернулся к стойке и заказал еще один, последний, бренди. Педро торчал рядом, безнадежно сложив голову на руки. Лучше оставить его здесь и подняться наверх, в зал Сладковского и поискать там Ренату. Допил свой бренди и расплатился. Еще раз посмотрел на Педро:

— Ну, пока, Педро, я пошел.

— Пока, — плаксиво отозвалось это воплощение горя. Профессор соскользнул с сиденья и расправил пальто. Поглядев на выход, заметил Жофию Бернатову в зеленом платье, взгляд которой блуждал по залу… Она увидела его, а потом узнала в горестной фигуре возле него своего Педро. И разозлилась.

— Здравствуй, Монти, — сказала она. — Так он здесь! А я ищу его по всей «Репре».

Она схватила Педро за волосы и подняла голову.

— Ку-ку, — произнес тот, улыбнулся, открыл глаза и увидел Жофию. Сразу же глаза закрыл и повторил с отвращением: — Ку-ку!

Она начала его трясти:

— Педро, вставай!

— Оставь меня в покое!

— Встань, я тебе говорю! — зашипела Жофия. На них начали оглядываться с соседних столиков. Тоном супруги Жофия обратилась к профессору:

— Скажи, пожалуйста, сколько он в себя влил?

— Трудно сказать, я зашел сюда с минуту назад.

— Подержи его, пожалуйста.

Профессор взял Педро за плечи, а Жофия повернулась к бармену. Он заметил, что Педро прикрытыми глазами следит за ней.

— Одни козы, — пробормотал он. — А я баран, такую оказию…

— О'кей, — сказал профессор. — Ну, начинай ползать по земному шару.

— Так ведь… — Он махнул рукой. Жофия возвратилась от стойки и взяла его под руку. — Оставь меня. — Педро стал вырываться.

— Ты пьян!

— Вовсе нет. Чашечку кофе — и все будет в норме.

— Посмотрим!

— Посмотрим!

Педро твердым шагом направился к выходу. Жофия побежала за ним.

— Педро! — позвала она, но тот даже не обернулся.

Профессор оторвался от стойки и медленно пошел за ними. Как прекрасна жизнь, полная таких вот сценок! Но он должен ее оставить. Почему? Потому что он не из тех, кто хорошо родился. Все, абсолютно все зависит от этого, *damn,* — говорил он себе, раздвигая черную занавеску. Жизнь — не что иное, как огромная несправедливость.

— Да, да, — говорил Роберт Гиллман партнерше, вращаясь с нею в этом море света. — Если идти по аллее к Задворжи, там слева есть заповедник.

— Фазанник, — поправила его помещичья дочь, — а в излучине, против распятия, такой прудик, знаете?

— Знаю. Там мы с Ireной однажды купались.

Ее сейчас не очень даже задело осквернение своего прудика телом Гиллманши. Приятная неожиданность, что Роберт Гиллман знает Тополов, еще жила, и ей невольно захотелось спросить его и о церкви. В ней ложа с балкончиком, красный захватанный плюш на перилах, оттуда видно даже дно чаши в руках священника; от этого пропадает вся таинственность, зато оживает старое чувство дома. Однако она не успела спросить, а Роберт Гиллман сказал:

— Ирена родилась вблизи этого места. Потому и знаю. Мы обычно ездим туда на лето.

Этими словами он разорвал тонкую нить некоторой симпатии. Почему он все время приплетает эту корову? — подумала зло. А впрочем, так ему и надо, что такая стерва досталась. Помещичья дочь раздраженно спросила:

— Где родилась?

— В Малой Студне. Она в…

— Я знаю, где, — перебила его она. — Туда ходит вагончик из Лготки.

— Да. А от остановки ведет бетонный мостик через луг. Подвесной — из-за половодья. — По-моему, деревянный.

— Нет. Деревянный был раньше, а в прошлом году сделали новый. Из бетона.

— Вот как? А когда вы там были в первый раз? Роберт Гиллман задумался. А она чувствовала, что симпатия совершенно испарилась. Разве ей не все равно, был он в Тополове или нет? Не один же он там был. И вообще — почему ее так глупо обрадовало, что он там был? Что бы это значило? А-а, ясно: ей приятно вспоминать Тополов; он же не думает ни о каком фазаннике, лишь о Гиллманке, как она идет через фазанник: кожа не ощущает тепла, вода в пруду прохладная, там много головастиков, и он, конечно, видит только свою картину: пруд и худое тело Гиллманши в

купальнике. Или даже без купальника, — там ведь развесистый бук. Вялая рука Роберта коснулась ее спины, как раз где застежка лифчика. Почему он не положит ее в другое место, болван! Ах, никогда, никогда не будет у нее мужчины! Когда ее обнимают в танце, она воплощается в партнера, словно сама касается его руками своего тела. Рука чувствует слой жира, вылезающий из латексовых приспособлений, которыми все это как-то держится. Ей хотелось плакать. Нет, нет, никогда не будет у меня мужчины, ну и не надо. Она бы не верила ему. Ей бы пришлось смеяться над ним. Удивляться ему. Почему я, когда на свете есть Норы, обольстительные, сотворенные для радости, для страсти, для черного отчаяния. Ах, Семочка вовсе не дурак. Он правильно выбирает. Ведь прикосновение к Гиллманше тоже, наверное, приносит радость. Семочка вовсе не такой болван, как этот Гиллман, который так предупредителен со мной, как будто он мне нужен. Ей вдруг захотелось сделать ему больно — да так, чтоб не сразу пришел в себя. Он же в это время все еще морщил лоб, вспоминая.

— В первый раз?… Подождите… Это было в сорок шестом.

— Мы там уже не жили, — ответила она, сооб-

ражая, чем же его задеть, — и вдруг ей пришло в голову: — Так вы познакомились с Ireной в Малой Студне?

— Нет. В Праге. А там мы с ней были вместе в первый раз на каникулах.

Снова злится: наверное, там, у ее прудика, они и выспались в первый раз. Она спросила:

— Как долго вы были вместе до свадьбы?

— Пять месяцев. Долго, да?

— Я не против коротких знакомств, — засмеялась она. — Сколько тогда было Ирене?

— Двадцать.

— А вам?

— Двадцать два.

— Как раз в моем вкусе, — ответила она и не почувствовала неловкости от того, что произносит эти слова, словно в этих вещах могла руководствоваться своим вкусом: она произнесла их с определенной целью. — Нашему Сэму я все время советую жениться, — начала она в духе легкого трепа, злорадно глядя в лицо Роберта. — Но он такой недотепа. Ни с кем не ходит. Не знаю, держится ли он еще…

— Пожалуй, нет, — ответил Гиллман мрачно.

— Бог его знает, — продолжила она, переходя на доверительный тон. — Знаете, он раньше

ходил с Лаурой Шроттовой, это его кузина — и моя тоже, точнее — не кузина, а тетка, а я ей внучатая племянница, — хихикнула она, — это звучит смешно, но она моя двоюродная бабушка, а Самуэлю тетка, а мне Самуэль не кузен, а дядя, понимаете? Но он всего на пару лет старше меня, так что я называю его кузеном, а двоюродная бабушка Лаура всего лишь на два года старше его; ну, мы довольно смешная семья; что вы на это скажете?

Он молча кивнул. Родственные связи Сэма Гелллена его совершенно не интересуют, — подумала она. И вообще, ничто смешным ему не кажется. И все же она продолжала тараторить:

— Так вот, они ходили вместе, и вся родня беспокоилась, чем это кончится, и вдруг это потухло само собой, и никто не знает, почему.

— Бывает, — заметил Роберт Гиллман. Он ушел в себя, как черепаха в панцирь, и от его приветливости ничего не осталось. Но она уже в ней не нуждалась.

— И с тех пор Сэм уже ни с кем не ходит.

Он снова кивнул, глядя через ее плечо в пространство. Какое-то особое довольство разлилось в ее душе. Она решила, что настал момент для решающего удара. Прижавшись к нему, она про-

должала еще доверительнее:

— Между нами: у него кто-то появился. Это вроде бы какая-то бывшая балерина или что-то такое; во всяком случае, Сэм боится привести ее домой. Не знаю почему, но Сэм немножко чокнутый. Или у него какие-то свои соображения, чтобы не представлять ее домашним. Что вы на это скажете?

Она сама ужаснулась собственной дерзости. Но — достала его.

— Наверное, есть, — произнес он ледяным голосом, глаза твердые и холодные как стекло. Потом оркестр кончил играть, и он от нее освободился. Ее это слегка разочаровало, но все же она своего добилась. Он отпустил ее и слегка поклонился.

— Благодарю вас, — светски произнес он и предложил ей руку. Она, конечно, повесилась на него, как Нора. Сейчас она — как Нора. Ядовитая, как Норочка, которая коготками может погладить, а бархатной лапкой оцарапать. Нора, лед и пламя, принцесса Нора. Сейчас она почувствовала себя в чем-то равной ей и шла по паркету довольная, под руку с мужчиной, которого покорила. На краткий миг она была по-настоящему счастлива.

Стиляги из Института, *SBA* и прочих мест быстро собрались в зале Сладковского, где можно

было танцевать отдельно. Лидия, как он и предполагал, вертелась недалеко от сцены; иногда он поверх нот видел ее, красиво упакованную в бальное платье, словно готовую к употреблению; под прозрачным шифоном — загорелая спина, еще от плавательного бассейна — ее загар всегда держался долго; но сегодня он не думал о ней, ибо обычное отчаяние от игры стало на порядок выше.

Это произошло при *«Sentimental Reasons»,* как раз посреди хорового рефрена, поэтому никто ничего не заметил. У него вдруг запершило в горле, он раскашлялся и не смог больше играть; прижатый к губам платок сразу наполнился кровавыми ошметками легких. Вот и все, подумал он, и ему, как это ни глупо, стало легче. Пять лет он тщетно пытался доказать домашним и самому себе, что его больным легким полезна игра на теноре. Наконец случилось то, чего он давно ждал. Вдобавок к его киксам и отстранениям за слабую игру — еще и это. Он слабенько дул в изогнутый инструмент и слышал его тонкий, блеющий, сформированный звук, терявшийся в певучем завывании квартета. У Типла, первого альтиста и солиста, шея раздувалась от синкопированных усилий, горло Клауса ритмично расширялось и

сжималось; краем глаза он видел рядом и Кучеру, третьего альтиста, и Зикмунда с баритоном, — он как-то косо на левую сторону сидел над своим импозантным инструментом; их голоса сливались в уверенном, энергичном вибрато — мощный поток звуков вел мелодию свинга к блаженным высотам. Они были здоровы, талантливы — настоящие саксофонисты, а он сидел среди них, присоединяя свой слабенький, расхлябанный голосок к этому циничному, бесцеремонному гимну торжествующей музыкальности.

Да. Лидия ушла из его мыслей, и он думал сейчас об аккордах, которые не давались ему, и о своей несчастной музыкальной карьере. Один бог знает, когда пришло ему в голову играть. Все же нет — он знал, когда и почему. В четвертом классе гимназии, — к ним тогда еще ходил на обеды пролетарий Вавра, — и однажды, весной, им овладела безумная тяга к музыке, чреватая множеством проблем. Вавра как-то принес с собой скрипку, исполнил этюд, потом песенку и сообщил, что будет играть в оркестре Сокола Кобылисы; из струн, аромата канифоли, из каких-то видений родилась необъяснимая, неодолимая страсть, определившая в долю секунды всю его дальнейшую жизнь. Эта страсть сначала во-

плотилась в пианино, которое стоит сейчас в столовой, коричневое, блестящее, гармонирующее с мебелью. И в «Школу игры на фортепьяно» Байера. Его учил профессор из консерватории, который непредусмотрительно позволил, чтобы ему за восемьдесят крон в месяц портили нервы, и через полгода от всей его учебы осталась только потрепанная книжка, так что с музыкой он, вероятнее всего, распрощался бы и навсегда забыл муки аппликатуры. Но, когда он был в восьмом классе, Зетка создавал оркестр, и скулящая страсть снова вспыхнула, ибо волшебство скрипок Вавры оказалось в сравнении с этим оркестром всего лишь прелюдией. Ночи, прежде пустые, стали чародейским шабашем в эфире; и не Лондон он слушал, говоривший о скором конце войны, а Стокгольм, *ABSE*, Глена Миллера, абракадабру мистических имен: Луи Армстронг, Кид Ори, Джимми Лансфорд, Джо Венути, Мэри Лу Вильяме; к тому же и Лидия привязалась к оркестру и сидела на репетициях, слушая первые пробы с набожным восторгом.

С таким же восторгом и он отдался музыке — как муха, сожженная жарким пламенем яркой керосиновой лампы. Джазовую музыку он любил больше, чем все ребята в капелле, но, увы, талан-

та бог не дал. К тому же с детства у него были слабые бронхи. Отец, так легко выложивший уйму денег на новый *«Petroff»*, и слышать не хотел о тенор-саксофоне марки «*Toneking*» и любой другой фирмы, мать плакала, доктор не советовал. Франци, от рождения болезненный, пассивный ребенок, вырос в пассивного, интровертного юношу. Тогда он устроил настоящее сражение, ярость которого поразила энергичного папашу. Франци, послушный сын и образцовый ученик, в роли закоренелого вымогателя — это что-то новое, и после ужасной истерической сцены, затянувшейся до полуночи, появился саксофон, а с ним и учитель, но таланта, соизмеримого с интенсивностью этой страсти, не оказалось. В капеллу его взяли, там в тот момент не могли найти другого; а может, сила его страсти поразила ребят. И эта страсть превратила признанного отличника, первого ученика, прилежно сидящего над учебником, в подмастерье пижонов и стиляг, свингующего чудака, — как обычного, нормального второгодника. Наверное, он удивил и Зетку, — хотя, при всей старательности и исполнительности, оказался серым, как пальто учителя математики, — и Зетка поставил его четвертым тенор-саксофонистом, но для капеллы

он всегда был недотепой и слабаком.

Таким образом, для него единственной яркой ночью любви осталась та первая ночь, когда саксофон в черном футляре лежал под кроватью, впервые вытертый кожаным шомполом, еще совсем незнакомый, а сам он еще не знал ничего о специальных аранжировках в кульминирующих *last choruses*. В ту ночь ему снилась музыка, блаженство игры — и Лидия, соблазненная сексуально приглушенным голосом его инструмента; он мечтал о красоте, которую позолоченный корпус придаст его фигуре, когда он в мягком свете будет стоять на эстраде бара, где обычно бывает Лидия, — словом, то была первая ночь, счастливая, как и все первые ночи. Затем начались репетиции в школьном зале, а потом и в подсобке кафе «Савой». Хотя Лидия вертелась там постоянно, ни голос золоченого корпуса, ни фигура четвертого саксофониста ее не привлекали. Ибо голосу его инструмента, хотя и приглушенному, сдавленному, не хватало виртуозности, чтобы быть *sexy*, и фигура его не возвышалась триумфально в свете голубого рефлектора, а корчилась как можно незаметнее за ободранным пультом четвертого в батарее, никогда не поднималась в соло, потому что четвертый тенор этого соло

никогда не имел, за исключением обязательных, позорных, блеющих соло, исполняемых только на репетициях при жестком внимании молчащей капеллы.

В конце концов он стал саксофонистом, но не модерновым бардом в сером пиджаке, а чудаковатым воплощением музыкального неудачника и своеобразным амулетом оркестра. Его это мучило, но играть он не перестал. Раз уж судьба не дала ему играть соло под голубым рефлектором, он играл его в своих фантазиях. Особое счастье он испытывал перед началом игры или когда тащился вместе с капеллой, саксофон в руке — никто ведь не знает, каково его место среди них и как он играет. Это была уже не мистерия музыки, а мистерия принадлежности к музыке, к сообществу избранных. А счастливее всего он был, когда капелла играла что-нибудь ему доступное, особенно в прелюдии, когда он вместе со всеми поднимал свой тенор к люстрам, словно молился великому новому богу. Тогда на какое-то мгновение он чувствовал себя в теле великого Коул-мана, небрежно перебирал клапаны саксофона, и в его фантазиях это была ошеломительно прекрасная импровизация. Но Лидия приходила и на репетиции, а там Зетка прерывал

сонг в любой момент и подвергал мучительной, унизительной трепке; там требовалось играть обязательные, неэффектные соло, и Лидия качала головой, подпевала его партию, и блаженство музыки, коварной и жестокой, превращалось в удвоенную смертную муку, в двойное унижение.

Отзвучала мелодия *«Sentimental Reasons»,* и Франци поставил саксофон в стояк. Пестрая куча людей постепенно выстраивалась в пары, которые слились затем в длинный вращающийся эллипс смокингов и бальных платьев. Снова приступ кашля, достал платок; из эллипса на него сочувственно смотрели глаза какой-то девушки; он вытер лоб, изо всех сил борясь с кашлем. Сочувствующую девушку уносил эллипс, она даже оглянулась через плечо, а кашель все же прорвался. К счастью, он услышал голос Зетки:

— Клавес, будем играть диксиленд. — Освобождение, двадцатиминутный антракт; он вскочил со стула, оставив ремешок на шее.

— Привет, Франци, — окликнул его кто-то, он обернулся: Густав из Института.

— Привет, — крикнул он, улыбнулся его девушке, потом быстро начал пробираться через толпу; кашель прорвался на самом выходе из зала, и ему пришлось прикрыть рот платком. Вбежал

в туалет и заперся в кабинке. Алая кровь окрасила унитаз. Он снова закашлялся и выплюнул новый кровавый комок. Но не ужаснулся. Скорее пришло облегчение: он свободен наконец от саксофона, от этого жестокого счастья и скоро умрет. Мелькнула в голове красивая картинка: постель, кушетка на солнце и… Но он знал, что Лидия не станет печально сидеть возле него, класть холодные компрессы на лоб или даже просто улыбаться ему. Ни Лидия, ни другая девушка.

Он сел на край унитаза и опустил голову в ладони. Бледные узоры зеленоватой плитки начали выстраиваться в череду воспоминаний. Он был уже не в туалете «Репры», он видел Дейвицкую площадь, по которой они ходили в надвинутых на глаза шляпах и в узких галстуках, дерзко задевали девочек — в одиночку никогда бы не осмелились; с девушками у него ничего еще не было. Не только с Лидией, ни с одной из тех, что гуляли перед кинотеатром в белых носочках и теннисках, в ярких кофточках с закатанными до локтя рукавами, под руку втроем, вчетвером, впятером, шести– или восьминогим существом с четырьмя попками, до блеска вытертыми на лавках дейвицкой гимназии и в Стромовце; бесконечно длинные вечера в золотых сетях солнца

на окнах семинарии, — все они заканчивались одинаково пусто; и потом, ночью, когда он лежал в спальне, а рядом, в комнате сестры, граммофон играл свинг и доносилась таинственная возня подруг и приятелей Эдиты, — он представлял себе белые тенниски небогатых девушек пригорода, белеющие запретными звездами во тьме его комнатки, их вытертые платья, брошенные на стул у постели. Отвратительный мир одиночества — и ничто не вызволило его из этого мира: ни саксофон, ни таинство музыки, ни мучительное счастье свинга.

Он сидел, опустив голову на руки, глаза блуждали по цветным плиткам пола, по матовому стеклу двери, за которой двигались размытые тени облегчавшихся мужчин. Он затрясся в новом приступе кашля. Затем поднялся и сплюнул в унитаз. Кровь. Вытер платком губы и потянул шнур. Поток воды унес все это в канализацию.

Роберт обнял ее за талию и тихо произнес:

— Ирена!

Она не перестала смотреть с балкона вниз, на кружащихся девушек, но руку его убрала.

— Подожди, дорогой, — сказала она, глядя то на танцующих внизу Иржинку с Сэмом, то на девушку лет семнадцати у перил: очаровательная

спинка под кисеей, зачесанные кверху ореховые волосы. Домогательства Роберта отвлекали ее, она знала, чего он, Робочка, хочет и что его мучит, но для этого достаточно времени дома, сейчас же ей хотелось любоваться этой печальной девушкой с ореховой головкой, такой милой и фантастически одинокой на балу.

Девушка притягивала ее чем-то невыразимым, как идеальное воплощение радости и печали, наслаждений и страдания для какого-то молодого человека или, пожалуй, для молодой женщины, — второе казалось вероятнее. Краем глаза она видела девушкины бледно-розовые губы, зеленовато-голубые глаза, а девушка в это время с глупенькой меланхолией, с каким-то капризным упрямством глядела на танцующую толпу; похоже, она оказалась на краю мелкого девичьего отчаяния оттого, что какой-то молодой человек после долгого, почти недельного знакомства ее бросил. Из сумочки, расшитой искусственным жемчугом, она достала платочек и вытерла незаметную слезинку.

Все это было очень трогательно. Власта Мандлова всегда говорила: «Ты лесбиянка, Ирена, типичная, надо с тобой держать ухо востро, чтобы не лишиться невинности». Все это глупости,

но она, пожалуй, не станет отрицать, что эти плотские забавы с Робертом ее почти не трогают, а молодые девушки как-то особенно волнуют, хотя ей в то же время страшно нравится Сэм, вполне идеальный самец; черт знает как, но эти девушки ее очень волнуют, — не так, конечно, чтобы появлялось желание тискать их, этого нет или чаще всего нет; к этому, пожалуй, больше стремилась Власта, — а как-то душевно, словно она — в их наивных печалях и желаниях, в их бродяжничестве, в вечных маршах по центру и по театрам — видит саму себя. Ах, Власта Мандлова, эта воровочка и любимая шлюшка, сколько они с ней пережили в любенском паломничестве вокруг «лох-несса»: хозяин аттракциона влюбился во Власту и бесплатно катал их целый вечер на спине своего смешного чудовища из папье-маше, пока у них не заболели животы от торта, который они купили на деньги, украденные Властой дома; потом этот господин пригласил Власточку в свой фургон, а она подруге очень завидовала, потому что к этой машине ее тоже тянуло, ведь там была и кухня, и комната, и картины на стенах, но Власта туда не пошла, по крайней мере — в тот раз, когда они были вместе, а отправилась в другой день, и у нее там что-то с этим человеком было.

Господи, старые либенские дни! Она почувствовала, как Роберт жмет ее руку, добиваясь своего, но он сейчас далеко за горами; теперь ей гораздо ближе девушка на балконе и далекие либенские дни. Какая тогда жизнь была, и как быстро она ушла! Со всеми их прогулками, и с кондитерской, и с ночными бдениями в кафе «99», и с мальчиками, которые ничего себе не позволяли — только поцелуй в щечку. Это была жизнь! Полная вдохновения, ожидания, интереса. А она была Умницей, умела шутить, знала стихи — Галаша, Манон почти на память, — очаровывала каждого встречного. Куда все подевалось? Она сейчас казалась себе почти мертвой, гораздо менее интересной — просто замужней Женщиной. Тогда она была Иреной Шилинговой из Либня, она училась, ею все восхищались, — сейчас тоже восхищаются, но чего-то не хватает: свежести, наивности, искренности и вообще чего-то в целом — невинности, что ли? Жизнь! Как мало ее осталось. Больше всего ее у новорожденных, а потом она все убывает и убывает, как из дырявой посудины, вытекает по каплям, пока не останется лишь пустой сосуд, его положат в гроб и закопают или сожгут. Как можно болтать о радостном будущем, когда любое будущее — лишь постепен-

ное расходование первичного дара, собственно говоря — вытеснение из жизни. Одни только дети живут человеческой жизнью. Они не обязаны что-то делать — только жить. Ирена завидовала детям, завидовала этой ореховой девушке, которая живет, тогда как сама она лишь существует. Ей хотелось снова быть маленькой девочкой, молоденькой и глупенькой, перед которой раскрывается удивительный мир. Хотелось снова стоять в туалете либенской гимназии вместе с Властой Мандловой и Адиной, дымить сигаретой как паровоз, или на каникулах бродить с Педро вокруг Тополова и мучить его, доводить до белого каления; или даже еще дальше, значительно дальше: к старому дому на Иеронимовой улице, к длинным штанишкам, мать их натягивала ей на самые колени, когда она шла зимой в школу, и она за дверью дома, на морозе, подтягивала их как можно выше, ибо терпеть не могла, когда они торчат из-под платья; к этому дому напротив с жестяной рекламой автопокрышек, со старой колонкой в стене, с винтовой лестницей и толстым Аликом Мунелесовым, соседским мальчиком, немножко дурачком от рождения, его водили за руку во вспомогательную школу рядом с их.

Ей хотелось возвратиться туда, но она прекрас-

но знала, что назад дороги нет, она — замужняя дама, госпожа Ирена Гиллманова, к которой пристают отвратительные мужчины, и у нее есть муж, вот он канючит рядом; она слегка сжала его руку и, как из не очень чистого граммофона, услышала его реальный, трезвый голос, зовущий ее по имени из какой-то дальней дали, всегда ей чуждой.

— Не пора ли нам домой, дорогая?

Она покачала головой.

— Ирена, нам пора.

— Нет, — прижалась она к нему. — Видишь ту девушку?

— Угу.

— Мне она ужасно нравится.

— Красивая.

— Ты чувствуешь ее?

— Что?

— Она пахнет девушкой. Как после физкультуры.

— Гм-м.

Внезапно он на что-то решился и твердо заявил:

— Ирена, нам нужно серьезно поговорить.

— Да.

— Серьезно, Ирена.

— Ну да.

С минуту он молчал, потом сказал:

— Ирена, не путайся с Сэмом, — хотя бы не на людях.

— Что?

— Ты сама знаешь, что. Вы танцуете в обнимку, да и ходите так по Праге.

— Но…

— Подожди! Я знаю, к примеру, что ты с ним целовалась!

— Это неправда!

— Ирена, я видел своими глазами!

— Когда, Роби?

— На прошлой неделе.

— И где же, скажи, пожалуйста?

— Когда я шел вечером домой. Если уж целуетесь, то хотя бы шторы задерните.

— У тебя галлюцинации, Роби, — возразила она. Ей было неприятно чувствовать себя виноватой. Целоваться, конечно, не стоило. Это первая ступенька вниз, а потом уже не остановишься. И хотя она раз и навсегда решила, что никогда у нее не будет двух мужчин, все равно не стоило этого делать.

— Ирена, я прошу тебя, не лги!

— Но, Роберт, ты ничего не мог видеть. Роберт

начал закипать:

— Не мог, да? А когда я вошел, тоже ничего не было? Твое красное, размазанное лицо, вспухшие губы у этого пейсатого, и это молчание, будто ничего не было…

— Роберт…

— Дорогая, не надо мне рассказывать сказки. Она пожала плечами:

— Не буду. Но у тебя галлюцинации.

Лицо Роберта исказилось гневом. Но он сдержат себя: ей противна его вспыльчивость.

— Ирена, я не буду устраивать сцен, — подавленно произнес он. — Я был очень — и, быть может, незаслуженно — счастлив с тобой и думал только о себе. Мне казалось, мы всегда будем вместе и между нами не встанет третий.

— А разве встал, Роберт?

— Я знаю. Верю тебе, что ничего серьезного не было, но хватит уже этого.

— Чего?

— Тебе с ним лучше, чем со мной.

— Глупости!

— Не спорь. Вы с ним очень похожи.

— Нет, Роби, совсем нет.

— Да! Ты, Ирена, такой же человек, как и он.

— А ты нет?

— Нет, Ирена. Ты во всем видишь лишь пустоту, а я так не могу. Я, в принципе, совершенно нормальный человек.

— Вовсе нет.

— Нормальный. Я люблю жизнь, люблю веселые песни и не люблю Сартра, а ваши мне противны, они все реакционеры…

— Я вроде бы нет?

— Я знаю. Но ты с ними не ссоришься из-за этого, А Сэм с ними — свой человек.

— Сэм вовсе не реакционер, Роберт.

Это взорвало его. Лучше бы ей промолчать, по крайней мере — сейчас. Но она сказала, и эротика, как всегда у Роберта, перешла в политику.

— Прошу тебя! — почти крикнул он и продолжил с иронией: — Конечно, он признает, что коммунисты правы, ведь ему нужно заканчивать докторат. Но посмотри, как он подлизывается к вашим. И как они понимают друг друга.

— Здесь же ничего серьезного!

— Возможно, вполне возможно, Ирена. Но для него вообще нет ничего серьезного. Даже когда говорит тебе, что признает марксизм. Он хочет быть хорошим и здесь и там. Но если случится переворот, контрреволюция, ты увидишь, что останется от его марксизма!

Теперь пришел ее черед иронизировать:

— А почему он должен его признавать? Роберт остолбенел.

— Я бы…

— Разумеется, ты будешь верным, у тебя нет выбора после того, что успел в жизни сделать. Но скажи, зачем марксизм Сэму?

Роберт молчал. Ирена смотрела ему в глаза:

— Ты думаешь, Роберт, что кого-то из ваших лояльных беспартийных можно перековать? Они будут дураками, если пойдут на это. Ты так не считаешь?

— Энгельс тоже был фабрикантом, но…

— Конечно-конечно. Но они — не Энгельсы. Вполне обыкновенные мужчины, которые хотят денег и женщин. Это совсем другая классовая борьба. Сейчас уже не те времена, что при Энгельсе.

— Я все это знаю, Ирена.

— Ну тогда скажи, в чем ты можешь упрекнуть Сэма? Он вполне лояльный, против власти не выступает. И если придут американцы, он никого не будет ни выдавать, ни преследовать. Можно ли его упрекать за желание что-то получить от жизни?

Она видела, что Роберт еле удерживает себя от

политического спора, хватается за иронию, но все равно остается страшно серьезным.

— У меня нет к нему никаких претензий, но пусть делает это в другом месте и не волочится за тобой.

Ей не хотелось возвращаться к началу разговора. Политика безопаснее.

— Он вовсе не таскается за мной, — быстро сказала она. — И если речь идет о…

— Нет? Да он у нас днюет и ночует!

Эти слова отрицать было трудно; и она решила игнорировать их и вернуться к безопасной политике, но Роберт вдруг твердо и упрямо заявил:

— Ирена, мне очень неприятно, что ты с ним целовалась.

— Но я…

— Ирена! — воскликнул он, больно хватая ее за руку.

— Ой!

— Ирена, не лги хотя бы! Не лги!

— Пусти меня, Роберт!

Ей действительно было больно. Но он в своей ревнивой ярости не сознавал этого.

— Ирена, зачем ты лжешь? Я вас видел! И хватит об этом; ты же знаешь, если б и было что, я не смог бы тебя оставить. Так хотя бы не лги мне!

Стало еще больнее. Ей пришлось разыграть девочку.

— Ну пожалуйста, прости меня, Робочка, — произнесла она виновато.

— Так ты целовалась с ним, да?

— Ну.

— Но… — Он колебался какое-то мгновение. — Ирена, но у тебя с ним ничего серьезного не было?

Она снова быстро взглянула на мужа:

— Нет, Роберт, этого не было. Поверь мне. Ничего не было.

Он отпустил ее руку.

— Я тебе верю, Ирена. Я знаю, ты у меня мировая и такой гадости не сделаешь.

— Душка! — Она взяла его за руку. Роберт смотрел на нее с собачьей преданностью.

— Не делай никогда этого, я прошу тебя, Ирена! Я ничего тебе не говорю, хочешь с ним видеться — пожалуйста, но хотя бы перед людьми… Матери рассказали, что вас видели в обнимку, и мне перед матерью страшно неловко.

— Кто рассказал?

— Портниха видела вас где-то в Либне.

Этот случай она помнила. Сэм ей тогда рассказывал что-то о Роберте, она смеялась, они

вели себя, как глупые любовники, и вдруг она заметила, что с трамвайной остановки на них смотрит Альбертка; она тогда отпустила Сэма и, пряча неловкость, начала с Альберткой о чем-то болтать.

— Я больше не буду.

— Обещай мне!

— Не буду, правда-правда. — Она сжала его пальцы, но тут же отвлеклась на девушку у перил. Чувство какой-то вины перед Робертом вмиг испарилось, она отодвинула его в сторону. На балкон поднялся молодой человек лет девятнадцати — с розовым лицом и густо завитыми волосами. Он подошел к одинокой красавице и окликнул ее.

Девушка повернулась спиной к нему, воинственно вздернув прелестные плечики. Стильный молодой человек начал бормотать ей что-то. Ах, как это Ирене знакомо! Как мила всегда эта очаровательная стереотипность!

— Посмотри, — сказала она Роберту. Тот снова схватил ее запястье, словно желая убедиться, что Ирена по-прежнему с ним, и посмотрел туда же. Сценка его совсем не трогала, и смотрел он только ради Ирены. Он готов был даже обсуждать с ней эту сценку, хотя сказать тут нечего — стоит

лишь смотреть, чувствовать, запоминать. Стильный молодой человек продолжал бубнить, пока девушка наконец не повернулась к нему и своими бледно-розовыми губками что-то яростно, от всей души, но сквозь готовые прорваться слезы не выговорила ему, а потом снова отвернулась. Молодой человек беспомощно пожал плечами, посмотрел в открытую балконную дверь и снова принялся бормотать что-то в спину девушке. Вот это девчонка! И все делает серьезно. Вовсе не играет. То есть, конечно, играет, но играет всерьез. Если б можно было оказаться на ее месте, с завистью думала Ирена, понимая, что даже если бы это случилось, ее переживания не были бы такими, как сейчас, когда она просто смотрит; она была бы такой же молодой и глупой и воспринимала все буквально, была бы такой же печальной и вовсе не чувствовала, как это прекрасно — быть семнадцатилетней красивой девушкой, влюбленной и любимой, и расходиться с парнем, и быть на него сердитой, и возвращаться к нему. Вот если б ей нынешнюю голову и возраст этой девушки… Именно в этом ловушка жизни: никто ничему тебя не научит, а только тобой пережитое, твой опыт, но когда чему-то научишься, жить уже поздно. Девушка оторвалась от перил и с

гордо поднятой головой направилась к выходу. Молодой человек последовал за ней словно привязанный, продолжая что-то лепетать. Девушка, ступая надуто и упрямо, вышла. Музыка внизу смолкла.

— Пошли, дорогой, — механически произнесла Ирена, чтобы как-то задобрить его, и взяла его под руку.

— Хочешь потанцевать?

— Нет, только пройдемся, — произнесла она, и ни с того ни с сего на нее всей тяжестью навалилась пустота — черная как смола. Ирена вела его под руку, этого человека по имени Роберт Гиллман, с которым связана теми же условными узами публичного ложа и стола, как и все глупые рожающие женщины, и весь мир на нее точно так же смотрел, кроме Сэма, сумасбродного милашки, и ничего с этим не поделаешь, потому что невозможно ни вырваться из этого мира, ни возвратиться в счастливые давние времена. Если бы, по крайней мере, она могла его любить так, как он ее. Но она его не любила. Иногда с ним было приятно, это правда. Но любовью это никогда не было, она знала — как и то, что уже вообще не способна любить, ибо чувствовала себя старой, а любовь — дело молодости, и только

свою собственную молодость она могла еще сентиментально любить.

Дочь помещика прекрасно поняла, что не усталость, а любопытство вынудили Ирену Гиллманову отказать доктору Гавелу, который приглашал ее на танец, и подсесть к ней на диванчик. В фойе, перед открытием бала, она чувствовала к Гиллманке только ненависть. Но минуту назад в искусную ловушку угодил ее ласковый муж, а сейчас ей страшно захотелось поймать в какую-нибудь петлю и эту явно блудливую красотку.

Пока Гиллманка с притворным интересом рассматривала мельтешащую в галерее публику, она, насквозь ее видя, с любопытством ждала, когда Ирена примется ее расспрашивать. Конечно же, ей хочется узнать побольше о семье своего любовника, иначе зачем было подсаживаться. Она вовсе не выглядит хрупкой дамочкой; хотя, искоса глядя на нее из-под опущенных век, Иржина вынуждена была признать, что она красива. Не так, конечно, как прекраснейшая из всех — Нора; кожа грубовата, почти как у статуи из песчаника в тополов-ском замке, но это ее не портит, да и не может испортить, раз уж все за ней бегают. Это, конечно, не Нора, но все же — чо-

порная красавица в черном платье; да, красивая, ничего не скажешь.

— Кто это, вы не знаете? — Она посмотрела на Иржину своими зелеными глазами ящерки.

— Вы о ком? — спросила Иржина и посмотрела на толпу.

— Вон та в красном платье, с острым вырезом на спине.

Подворачивается оказия, решила помещичья дочь: Гиллманка сама лезет в ловушку.

— Та вон брюнетка?

— Да.

— Это Рената Майерова. — Она неторопливо расправила кончиками пальцев складку на платье. — Ее отец — какая-то шишка в Коммерческом банке, а дед — профессор Майер.

— Этот хирург?

— Да. Красивая женщина, правда?

— Угу, — кивнула Гиллманка. Глаза Иржины следовали за красавицей в превосходно сшитом красном платье, о которой она столько знала; все на этой женщине сидело идеально, разве подправить чуть-чуть. В душе Иржина улыбалась: ведь Гиллманка не знает, что ей все известно, она многого не знает, эта знаменитая Ирена Гиллманова. А кто, собственно, она такая? Никто. Живет

в маленьком домике в Либне; ее никчемный коммунистический муж, которого собственный отец лишил наследства, перебрался в их дом, ибо жить самостоятельно им было негде; отец ее — жестянщик или что-то вроде, а дед сажал картошку у какого-то помещика. Вот вам и вся эта пресловутая Ирена Гиллманова! Иржина мимоходом снова вспомнила Тополов, Задворжи, миниатюрные портреты своих деда и прадеда над письменным столом отца в большой комнате, вспомнила о тех двухстах пятидесяти гектарах, окруженных аллеей, фазанником и мглистым лесом, наследуемых из поколения в поколение, пока послевоенная земельная реформа не выгнала их семью на жалкое тридцатигектарное хозяйство в Радлицах. Вспомнила она, хотя и без любви, Сэмову родню, тесно связанную со строительством новых кварталов, давших Праге эпитет «стобашенная», — тут в ней вспыхнула злость на Сэма. Ведь тут почти мезальянс — сходить с ума по этой вот женщине, наплевав на Ренату. Но сейчас мы тебя поставим на место, Семочка, подумала она, воплощаясь в многоопытную болтунью-сплетницу.

— Я ее очень хорошо знаю, — начала она.

— Да?

— Да. Она часто приходила к Гелленам. Когда у Сэма день рождения или вечеринка, да и просто так. И к нам она ходит, когда у меня именины.

— Так это ваша родственница?

— Нет. — Иржина всматривалась в зал, где Рената Майерова пыталась скрыть, как она способна рыдать. — Нет, не родственница, хотя могла бы стать, — произнесла она с намеком. Перед ее внутренним взором предстала Рената в голубом платье, с брошью из старинного золота, в беседке их сада на исходе дня, в тот момент, когда Семочка сказал ей «нет»; она сама это слышала: был ее день рождения, в беседке играл граммофон, девушки и молодые люди из их родни бродили по кустам в саду… Сейчас глаза Гиллманки вопросительно ткнулись в нее:

— Могла бы стать?

— Могла. Но не захотела.

— И кто же ее хотел взять? — Гиллманша прищурилась с наигранным любопытством. Дочь хозяина поместья сладко улыбнулась, склонила голову к плечу и произнесла:

— Сэм.

Потом резко глянула в зеленые глаза этой женщины-вампа. Ей показалось, что лицо Гиллманки словно дернуло током, но потом оно снова стало

бесстрастным.

— Сэм? И когда же это было?

— Минуточку… — Помещичья дочь приложила палец к нижней губе; ей казалось, что лицо этой статуи из песчаника слегка потемнело от прихлынувшего румянца. И нужно было придумать что-то такое, чтобы посильнее ударить по интрижке Гиллманки с кузеном. — Пожалуй… на позапрошлых каникулах. Кажется, тогда все и кончилось.

— В сорок седьмом?

— Кажется, да. Точно! За год до февраля. Если бы вы знали, — заговорила она тоном опытной сплетницы, — как наш Сэмми ее любил!

— Да? — как-то легкомысленно отозвалась Гиллманка. — И как долго?

— Думаю, долго, — ответила помещичья дочь, наморщив брови.

— Вот как?

— Но вы только ничего не говорите Сэму. Он не любит об этом вспоминать.

— Разумеется. Так говорите же!

— Ну… — Дочь помещика оглянулась по сторонам, не подслушивают ли их. — Ничего в этом особенного. Просто Сэм в нее был… ну… пипапо.

— Что-что?

— Пипапо.

— Ну и словечко!

— Вы никогда его не слышали? Так говорят ребята из «Денисяка».

— Денисяка?

— Так называют «Институт Дени», понимаете? — А про себя презрительно подумала: «Тоже мне, дама! Не слышать о Денисяке?» Вслух же продолжала: — Он всюду за ней волочился. Как тень.

— А что она?

— Она и слышать о нем не хотела. У ней был кто-то из Международного Красного Креста. Швейцарец какой-то.

— Так у Сэма, значит, была сильная конкуренция.

— Ну да. — Она вспоминала, как это было на самом деле. Как Ренулька травилась дома морфием, украденным у деда, и как жена профессора совершила настоятельный визит к тетушке Гелленовой. И как потом давили на Семочку, — ведь для семейства это был бы *хит* первой категории, но Семочка был тогда по уши влюблен в тетушку Лауру — что великолепие *хита* еще более поднимало! — и слышать не хотел о Ренате. Но ты еще об этом пожалеешь, Семочка, — думала Иржина,

провожая взглядом удаляющуюся Ренку в красном платье, красивую, смуглую, молодую, — куда до нее этой Гиллманке!

— Он сам вам об этом рассказывал? — оборвал ее мысли голос Гиллманки.

— Нет, что вы! Сэмми никогда ничего не рассказывает. Но по нему и так все было видно; а рассказывала мне Рената.

— Что именно?

— Как он угрожал ей, что отравится, если она за него не выйдет. — Она высказала все это совершенно хладнокровно и естественно, потом продолжила: — И он потом устраивал страшные сцены, знаете, на самом деле он хотел не травиться, а вешаться, ходил дома всегда пьяный. И — между нами! — мне кажется, он до сих пор к ней неравнодушен.

— Вам кажется?

— Еще бы! — продолжала дочь помещика. — Ведь он до сих пор ни с кем не встречается. Правда, есть у него для утех какая-то замужняя дама, балерина или что-то вроде, обыкновенная какая-то, на которой он тоже не может жениться, а рядом с Ренкой он всегда стоит столб столбом, пялится на нее и ни с какой другой даже не заговаривает.

Улыбка исчезла с лица Гиллманки. Иржина-та-

ки достала ее, как и Роберта! Пусть знает, почему Семочка связался с нею, простой барышней. Самая обычная отдушина для утех. Гиллманка пришла в себя и, положив ногу на ногу, снова засмеялась, но как-то судорожно. Элегантные груди ее ходили ходуном. Иржина же не могла оторвать от них завистливого взгляда.

И дьявольская радость от унижения Роберта улетучилась. Ей казалось, что смешно даже сравнивать ту мимолетную победу с этой — над неувядающей красотой грудей Гиллманки. Господи, что произойдет? А ничего. Она с горечью разглядывала пары, которые все танцевали и танцевали — и все дальше и дальше от нее. Что произойдет? Гиллманша, конечно, разозлится и выльет свою злость на Семочку, а Семочка будет клясться, что все не так, и расскажет, как было на самом деле, — в этом можно не сомневаться, ибо Семочка не делает секретов из своих похождений; он ее, конечно, не переубедит или, по крайней мере, не совсем убедит, но будет достаточно убедителен в том, что касается их нынешней связи, и Гиллманка в конце концов посмеется над ее россказнями. Может, не стоило этого делать, удовлетвориться одним Робертом?

— Добрый вечер! — раздалось над ними. Иржи-

на быстро оглянулась. Какой-то молодой франт в смокинге, где-то она его уже видела. И тут же услышала голос собеседницы:

— Боже мой — Монти! И ты здесь?

— Как видишь, Ирена. Где ты, там и я. Потанцуем? Гиллманка посмотрела на дочь помещика, и та разозлилась.

— Но я не… — хотела сказать Гиллманка.

— Идите, идите! — перебила она ее. — Идите! Я подожду здесь Сэма. — Заметив колебания Гиллманки, еще раз добавила: — Идите!

Гиллманка улыбнулась и встала. Ее слова утонули в долетевшем из зала выдохе медных труб. Она взяла молодого человека под руку, а тот галантно поклонился Иржине.

Они ушли, а Иржина осталась на месте, развалившись на диванчике. Из зала донесся какой-то бухающий голос певца:

– *Gonna take a sentimental journey,* — потом протяжная фраза концертмейстера Иржака — призыв к нерешительным танцорам: — *Gonna set my heart at ease…*[13]

Наверное, этого действительно не стоило делать, думала она, глядя на хоровод причесок,

---

[13] Примечания: 13

Я отправлюсь в романтическое путешествие… И позволю сердцу порхать без забот *(англ.).*

усыпанных серебряной пылью, на кружение смокингов, на радость девушек, о которых еще можно рассказывать такие истории, какую она выдумала о Ренате. И вовсе она не выдумала. Только переиначила. О Ренате можно распространять массу совершенно правдоподобных историй. И только о ней, Иржине Кочандрловой, невозможно рассказать ничего. Даже придумать.

Она сидела на диванчике, красная, толстая, пылая жаром, а с огромной высоты зала, из дали долгой жизни опускалась на нее печаль, как манна небесная, пропитанная ядом.

Завершив обязательный танец с Эвой Мартинесовой, Сэм вышел в фойе разыскать Ирену, но вместо нее наткнулся под лестницей на Роберта. Он не мог просто так кивнуть ему и идти дальше: все же Роберт был не только мужем Ирены, но официально считался его приятелем.

Ирена время от времени пыталась подружить их на самом деле — ее милые абсурдности — и однажды, когда они втроем сидели в кафе «Палац» и обычное напряжение ревности растворилось в каком-то политическом споре, Иренка обрадовалась, заметив, как это мило, когда они трое — словно в одной упряжке; но стоило ей это сказать, как мимолетная иллюзия дружбы уле-

тучилась.

Иногда они с Робертом встречались без Ирены — по ее воле — и скучно просиживали в кафе, мучительно пытаясь найти хоть какую-нибудь тему, интересную обоим. И хотя Сэм пробовал подойти к Роберту с самых разных сторон, стоило заглянуть тому в глаза, как возникала железная убежденность, что он, адепт науки, впустую тратит время, пытаясь совершить невозможное. В душе проклинал себя, но время все же тратил.

Когда он так впустую растрачивал время, ему то и дело приходило в голову, что не только им с Робертом, но и людям вообще нечего сказать друг другу. У него не было иллюзий насчет ценности философских бесед, жизнь он считал бессмысленной, а ее производителей — преступниками, которые в момент размножения не ведают, что творят.

Это было его единственной философией. Докторской. Банальная увлеченность Иренкой не вписывалась в эту философию, нарушала ее стройность. И ему казалось, что, найди он действительно путь к Роберту как к приятелю и замени им свою животно ревнивую неприязнь, он мог бы как-то компенсировать эту детскую поэзию, называемую Ireной, и с позиции усталости

века безмятежно разлагаться — в подтверждение Робертовых правд и ради победы над смешной телесной и душевной потребностью.

И временами ему казалось, что сблизиться с Робертом не так уж и невозможно. Он коммунист, но никакой не Фучик, вовсе не хрестоматийный, ибо о том, нехрестоматийном, ему кое-что рассказывала постаревшая красавица тетя Эстер. В нем, самом по себе, вне его прогрессивных деяний, достаточно гнильцы, чтобы… Впрочем, если кто-то с гнильцой, ему рядом не нужен другой. Раем для *hollow men* является *splendid isolation*, сказал он себе и, быстро подсчитав своих настоящих друзей, получил внушительный ноль.

Ноль. Разумеется, у него куча приятелей, с которыми он, естественно, ведет время от времени реакционные или прогрессивные беседы. Но что же до сближения с кем-то — для этого только женщины. По-мальчишески стройные, какой была тетя Лаура или сейчас — Ирена. Так что жалеть не о чем, и Роберт — болван: не отвел глаз, когда увидел его.

Ему пришлось остановиться и якобы приятельски улыбнуться.

— Ну, как оно? — произнес Сэм. — Изучаешь публику?

— Да.

— Интересные экземпляры, да? — Сэм пробежал глазами галерею и произнес, чтобы только что-нибудь сказать: — Розовый остров девичьих снов, а вокруг — красное море.

Но Роберт не реагировал. Сэм посмотрел на черные волосы из-под манжет его белой рубашки, и ему сразу стало нехорошо. Эта рука касается Ирены. «Целую тебя в самых сокровенных уголочках», — прочитал он однажды в каком-то письме, которое Ирена неосторожно оставила на столе. В нем тогда вспыхнула ревность и на тысячи кусочков разорвала иронию, и он чуть ли не скулил, прося Ирену дать почитать письма Роберта, а она не давала: в таких письмах, дескать, могут быть фривольности. Но они-то как раз и тянули его: ковыряться в ране иногда приятно.

Элементарная ревность. Ярость самца в клетке. Ненавижу его! — патетически воскликнул он про себя и сразу же усмехнулся. Вот оно как, дорогой Ватсон! Оказывается, и ненависть тебе не чужда. Снова посмотрел на волосатую руку, на габсбургский профиль с сигаретой и быстро произнес первую же пришедшую на ум глупость:

— Удивляюсь, как еще терпят подобные увеселения! — Роберт не реагировал, и он продолжил:

— Идеальная провокация.

И тут Роберт прореагировал, но довольно неожиданно:

— Не пытайся, парень, не пытайся, я тебя прошу. Слышишь?

— Что? — поразился Сэм.

— Сам знаешь. Не надо передо мной разыгрывать из себя прогрессивного.

— Но я…

— Я не собираюсь тебя выдавать, не бойся. Такого с ним еще не было. И, в конце концов, всякому терпению есть предел.

— Я вовсе этого не опасаюсь, Роберт, — произнес он в манере киношного героя. — И ни к чему я не подмазываюсь.

— Не надо трепаться.

— Не собираюсь трепаться, Роберт.

Глаза Роберта светились злобой партийного активиста.

— Знаю-знаю. Ирена тоже считает тебя прогрессистом. Но я прекрасно знаю, что за этим кроется.

— Плохо ты знаешь, — терпеливо-элегично ответил Сэм.

— Нет. Хорошо знаю. Таких, как ты, — пруд пруди. Но хотелось бы знать, что бы ты делал,

если б… Если б вернулись старые порядки.

— Ничего б не делал, — ответил Сэм. — То же, что и сейчас. — Он наперед знал, что этот разговор ни к чему не приведет, как и все предыдущие. Но приступ ревности толкал его к иронии. И он сказал: — Или стал бы коммунистом и подрывал авторитет властей.

— А что тебе сейчас мешает?

— Стать коммунистом?

— Ну.

Сэм рассмеялся.

— Могу сказать, но тебе это покажется притянутым за уши.

— А ты скажи.

— Ну так вот, — начал Сэм, поколебался мгновенье, потом продолжил: — Понимаешь, моя трагедия в том, что умом я — на стороне прогресса, но чувствами я — не ваш. Или, говоря иначе, нет у меня чувственного отношения к той форме прогресса, какая сейчас воплощается. И у меня нет своего мира, как у тебя. — Он посмотрел на Роберта, который слушал с непроницаемым лицом. — Или как у Гарика Метте, которого ты выгнал из Института. Его мир — на другой стороне, и Гарик никогда в нем не сомневается.

— Так, значит, — ухмыльнулся Роберт, — твоя

прогрессивность — не от мира сего?

Сэм рассмеялся:

— Отлично сказано! Понимаешь, мне бы жить в Америке и иметь на шее неамериканский выбор или… Но здесь… — Сэм сделал паузу. — …здесь в большинстве коммунисты и…

— Что?

— И зло. — Он призвал свою старую добрую иронию. — Зло здесь удручающе бессильно.

Он посмотрел Роберту прямо в глаза и осекся. Закрой рот, Ватсон, зачем ты ему это сказал? Зачем… Роберт тем временем заговорил фамильярно и назидательно:

— Если тебе так хочется бороться со злом, то его еще хватает. Революция продолжается…

— В том-то и суть. Я революцию представлял себе иначе.

— Думаешь, имеет значение, как ты ее представлял?

— Пожалуй, нет.

— Ты еще увидишь ее во весь рост.

— Мне еще… — (Закрой рот, Ватсон!) — …очень бы хотелось знать, как большинство этих революционеров, которых я знаю, ну, этих митинговых борцов, — как бы они делали революцию, если б по ходу дела немножко стреляли.

— А мне хотелось бы тебя увидеть в той ситуации, — ядовито сказал Роберт.

Тебя, Ватсон? А действительно, что бы он делал, если б стреляли?

— Слушай, — начал он. Но тут в зеркале напротив появились танцовщицы, спешили в зимнюю ночь на следующее выступление. На кисейные костюмы были наброшены шубки под леопарда или под каракуль, в руках — балетки на длинных лентах. — Все это глупости, сказал он себе. Все это — черным по белому — совершенно ординарно: буржуазия, и пролетариат, и партия, и беспартийные, и политика, и красивые девушки, и жизнь, которую, при всей ее бессмысленности, так приятно проживать. Существует лишь одна проблема, и какой смысл рассуждать о ней с этим бараном Гиллма-ном. Одна проблема: как устроить, чтобы прожить жизнь получше.

Ему стало легче: он как-то выровнял все это в голове и видит ясно. Видит и Роберта Гиллмана, супруга Ирены, единственной и самой умной, — этого строителя светлого будущего, с его волосатыми руками, которыми он ее касается, и пухлыми губами, целующими ее в самые сокровенные места, — и перед этим Сэм был совершенно бессилен, и все снова стало на свои

места.

— Или вот так: «Ты как стяг наступающих войск, губы твои словно роза Шираза», — говорил он с прикрытыми глазами, неестественно ущемленным голосом, а ей было скучно. Делая вид, что слушает, она поверх его плеча рассматривала танцующих девушек. Он не переставал болтать, решив почему-то делать ей комплименты на такой манер, какой, он знал, ей всегда нравился. Но он не знал, что сейчас она не в настроении их слушать. Он декламировал поэтов, Библию, Соломона, Бодлера и разных англичан, из всего по кусочку, а она в это время думала об Иржинке: как та пыталась ее расстроить убого придуманной интрижкой Сэма и как, собственно, жаль, что ее уже ничто не может расстроить или ранить. Противно все это. Да и жаль ей было Иржинку, потому и подыграла она ее театрику, сделав вид, что рассказ больно задел ее, но кто знает, достаточно ли ей этого для счастья? Нет, пожалуй. А может быть, и да. Но ей самой все равно, абсолютно. Зачем этот Монтислав так трещит? Оркестр играл буги, и он под этот ритм снова что-то декламировал, какие-то стихи, английские, непонятные. Она резко прервала его:

— Монти, чем ты сейчас занят?

— Смотрю на тебя.

— А еще?

— А еще думаю о тебе, — протянул он голосом какого-то актера, имени которого она не могла вспомнить.

— А когда не думаешь обо мне?

— Тогда сплю.

— Как это мучительно! — заметила она. По сути, он говорил то же, что и Сэм, и почти так же, как Сэм. Или как Педро. Наверное, она оставляла что-то от себя во всех своих поклонниках или, пожалуй, они быстро проникали в ее любовь к красивой речи, к поэзии и потом старались. И Монти почти так же готов быть для нее джинном из бутылки, как и Сэм. Но она выбрала Сэма. Он милашка. Дурачок, правда. Нет, дурачок скорее Монти. После той молоденькой девушки на балконе ее все еще томит сожаление. Жизнь — *passe. No pasaran*. Объект минования. *Welcome* на виселицу.

— Прочти мне стихотворение, Монти, — попросила она.

— Какое?

— Что-нибудь о тщетности.

— Омара Хайяма?

— Пожалуй.

— Так…
— Или нет. Лучше то из «Контрапункта».
— «Контрапункта жизни»?
— Да-да. То, что ты всегда читаешь.
— Так я его читал только что!
— Ну еще раз.
— Хорошо.

Она прикрыла глаза. Ей хотелось остаться молодой девушкой, но не осталась. Хотела стать балериной, а получила болезнь сердца. Хотела получить в мужья блестящего американского господина, а приобрела Роберта Гиллмана. Хотела устроить себе виллу с кафельной ванной, а живет в маленьком доме у родичей. Хотела побывать в Африке и в Китае, а на каникулы ездит в Тополов. Хотела блестящих, интересных вещей, но ничто ей не интересно. Монти, аффектируя, начитывал под «*Boogie-Woogie Prayer*» Аммонса:

Oh wearisome condition of humanity!
Born under one law, to another bound.
Vainly begot, and yet forbidden vanity.

Created sick, commanded to be sound.[14]

Пани Ирену Гиллманову, прекрасную молодую пани Ирену Гиллманову из Либня томила — среди развлекающейся толпы на американском балу — тщета.

Он ждал полуночи. Глазами подталкивал стрелки часов, чтоб скорее пришло утро и можно было идти домой. Присутствие этого типа его раздражало, у него чесались кулаки, и он чувствовал, что может что-то сделать с ним, если они вовремя не уйдут. Он ненавидел его путаную болтовню, его смешение марксизма и революции с эротикой, фрейдизмом и прочей ерундой, чтоб скоротать время; да и все остальное в нем: от бачков до модного смокинга — вызывало отвращение. Ирена заслуживает обыкновенной порки, и вообще, решил он, хоть и запоздало: пора кончать! Пусть она считает его дураком, пусть все не так просто — он сам понимает, но как бы у

---

[14] Примечания: 14

Первая строфа «Священного хорала» английского поэта-романтика Фулка Гревилля (1554–1628):

О, этот тусклый человеческий удел
Меняться от закона до закона,
Родиться в боли от чужих тщеславных дел?
И править бал без жалобы и стона.

них с Ireной ни складывалось, в любом случае ее поведение — супружеская измена. И точка. Жить так он больше не может и не хочет. Пусть Ирена прямо скажет, чего хочет она, — и потом он будет действовать… Когда он дошел до этого места в своих решительных размышлениях, снова включился его коварный, насмешливый внутренний критик. Где уж тебе, приятель, — ты будешь по-прежнему тащить эту муть в себе — всегда и всюду, притворяясь, что ничего особенного не происходит. Ты сидишь в этом, как те получеловеки у Сартра; где-то что-то треснет, и ты придешь в ярость, Ирена тебя успокоит или же просто ледяным холодом заставит молчать — и *continuons*![15]

Жесткий императив этой отвратительной игры какое-то мгновение сидел в его сознании. А потом он заорал самому себя, собственной душе: Нет! Нет, черт побери! Он выгонит его из дому, этого жалкого Геллена, а Ирену строго накажет, он останется настоящим марксистом, здоровым, принципиальным большевиком. Но решимость его взметнулась фейерверком и так же быстро погасла, он уже ни в чем не был уверен, сознавая,

---

[15] Примечания: 15
Здесь — и все пойдет по-прежнему *(фр.)*.

что в этой ситуации никогда не будет настоящим большевиком; все это промелькнуло в какую-то долю секунды, как кошмарный сон.

Что же это такое, черт возьми? Что с ним происходит? Он пытался читать книги соцреалистов, смотрел спектакли на производственную тему, но когда не нужно было защищать их от сарказма реакционной литературной критики, вынужден был признавать — и признавался самому себе, хотя и не совсем уверенно, — что это искусство ему не особенно нравится. Он был в восторге от Маркса, в еще большем — от Энгельса, от их полных презрения и ненависти, мужественных, блестящих, логически четких формулировок: *«Вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать».* Всякий раз на этом месте его продирало приятным морозом по коже. *«Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет».* Просто, как «Логика» Аристотеля. И такие великие, прекрасные, классические слова: *«Пусть же господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих оков. Приобретут же они весь мир».* Именно это он читал, именно это придавало ему сил, именно

это сделало его большевиком. А в тех пьесах, в тех романах хотя и слова произносились почти те же, но… Что-то из них улетучилось, нет? Слово «революция» в текстах Маркса звучало, черт его знает, как-то совершенно иначе, нежели слово «революция» на сцене Реалистического театра. Он вспомнил, как впервые прочел «Манифест» в уголке склада за лавкой; его дала ему тетя Эстер, которую от Терезина спас брак с одним из Гелленов, который до свадьбы жил в основном картами и спекуляцией. Она была тогда красивой черноглазой еврейкой; его собственный отец, антисемит от рождения, презрительно называл ее салонной большевичкой; возможно, такой она и была. Явно не бедная, по-чешски говорила плохо, но вот потянуло ее на марксизм; она дала ему эту брошюрку, и он, одуревший от гимназии, от своих страшных, тайных мыслей, что фашисты правы, прочел ее на перевернутой бочке, сидя на ящике с гвоздями.

Сейчас Ирена вылетела из его головы, несчастье закрыло глаза перед приятным светом воспоминаний о радикальном чуде его жизни — проблеме национал-социализма. Он, ученик седьмого, потом восьмого класса гимназии, читал тогда статьи и статистику в «Сигнале». Читал бро-

шюрки об Америке. Странную книгу «Земля без Бога» — как-то так она называлась — нацистского автора, но говорилось в ней о бедности безработных и о набобской роскоши господствующих кланов. В одной из глав было интервью с рабочим из Южной Каролины. «Свободная конкуренция? Демократия? — заявлял тот рабочий. — Я не верю в это. В мире есть системы получше». «Он имел в виду коммунизм, — добавлял автор, — но после этой войны он поймет, что коммунизм — такое же зло. После этой войны он поймет великую правду национал-социализма». Он читал, и ему явно не хватало аргументов. Города из жестянок, хищничество монополий, кризисы, необеспеченное будущее, чудовищные контрасты нищеты и сверхприбыли, совершенно абсурдное сжигание пшеницы, уничтожение яиц — все это правда. Его раздражало, что противопоставить этому он мог только свое инстинктивное ощущение их, нацистов, *неправоты.* И только. В конце концов, уже тут гораздо лучше та крикливая, неупорядоченная демократия, чем Новый Порядок. Он мало тогда знал о концлагерях, был избалованным сосунком и не понимал, что это такое. И потом: большевики допускают зверства, — говорил отец еще перед войной, а он резко не принимал

нацизм. Демократия лучше *по своей сути!* Стократно. Это как раз то противоречие двух миров, которое описал Чапек в «Адаме Творце», в той сцене с памятником. На одной стороне приказ: «Смирно! Немедленно! Поднять! Положить!», а на другой — пререкания: «Черт побери, подними это, подожди, шевелись, не туда». И второе — лучше, потому что здесь люди, а там куклы. Но куклы накормленные, довольные, обеспеченные работой и отдыхом — ехидно нашептывал шут, живущий в его мозгу. Лучше быть голодным бродягой, чем сытым рабом, — упрямо отвечал он. Но эти люди Чапека роются в мусорных ящиках; их, умирающих от голода, питают любовницы своим молоком из груди. И все же — нет, нет, нет! Все равно демократия лучше! Да здравствует демократия! О демократия, *ma femme! A.* что она дает безработным? — спрашивал тот же голос. Роберт приходил в ярость. Он ходил по улицам и ловил себя на двойственных чувствах к немецким солдатам. Они — отвратительные, проклятые оккупанты, но вот эти, без наград, в грубых солдатских ботинках, поют по вечерам сентиментальные песенки о Лили-Марлен… Нет-нет, они противны ему. Он ненавидел их. Немцев. Фашистов.

Роберт Гиллман, стоя у перил мраморной лестницы в «Репре», улыбался себе прошлому. Он тогда был маленьким животным. Изнеженным буржуазным отпрыском, перекормленным лакомствами, которому в наследство от неудачника дяди-учителя досталось обостренное чувство социальной справедливости. Ничего он толком не понимал. Концлагерь представлял себе как обыкновенную тюрьму, куда до войны сажали хулиганов, и в своей буржуазной ограниченности, в своем эгоизме дошел до того, что чуть не начал верить в Новую Европу и в национал-социализм. Сейчас, через призму лет, хотя это было и не так уж давно, ему видится тот полуфашистский Роберт Гиллман совершенно иначе. Его застрелили на баррикадах в мае. Точнее, еще раньше: того наивного чешского фашистика Гиллмана он убил в один из летних дней в складе отцовской скобяной лавки «Коммунистическим манифестом».

Он погрузился в блаженство воспоминаний. Как и тогда, зазвучали эти слова, безо всяких украшений прекрасные своей правдивостью: *«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и*

немецкие полицейские». И это уже рушило образ большевистских зверств. Призрак коммунизма. Призрак большевизма. *«Буржуазия выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие, — современных рабочих, пролетариат».* Именно в этом — ключ к ответу. Он читал это после полудня, когда золотое солнце проникало в склад через небольшое окошко и зажигало над его головой мотки медной проволоки, и в голове его пылал жгучий огонек маяка личного спасения и личной победы: *«Наконец, когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее».*

Роберт Гиллман не видел раскрашенного бомонда, который поднимался, приподняв подолы платьев, вверх по лестнице, — его обуревали другие страсти. Он видел весенний медовый закат, когда ходил по набережной вокруг Народного театра, ошеломленный своим открытием; кишение одетых по-весеннему и по-военному людей

и немецких мундиров; золотые отблески речной глади и окна домов на набережной, отражающие солнце. Шел новый Роберт Гиллман, восьмиклассник гимназии из Труглярны, коммунист.

Коммунист? Дома взорвался страшный скандал, когда обнаружилось, что он вступил в партию. Когда он решил оставить старый, обреченный мир и жить в новом, который только-только зарождался. Но коммунист?

А действительно ли он живет в новом мире? Телом и душой? Умом и сердцем? Умом? Да. А сердцем? В чем он здесь новый человек? Уходя из семьи со злом, не с миром, он думал, что перед ним только путь в будущее, только путь революции. И куда же он пришел? Где он сейчас? Читает социалистических реалистов, от которых несет скукой, поскольку они не отвечают на вопросы, которые он задает. Задает только сейчас. И что это за вопросы? О чем? Чушь какая-то. Конечно! Но, наверное, и Маркс задавал бы себе эти вопросы, если б его Дженни изменяла ему с каким-нибудь Самуэлем Гелленом. Вынужден был бы их задавать, и кто знает, не задавал ли. Но об этом он не писал. А если он себе эти вопросы задавал, значит, они были естественными, человеческими и, следовательно, — большевистскими.

Ну да. Маркс не писал об этих вопросах, но если задавал их себе, то наверняка находил ответ. Или же попросту игнорировал их: перетерпеть, не волноваться, не отвлекаться от работы; быть и в такой ситуации героем, цельным, не разложенным на составные части, как эти персонажи декадентских романов. А какой из *него* герой? Никакой. Да, в военное время он не трусил, когда немцы забрали половину товарищей из организации; боялся, но преодолевал страх и продолжал выполнять задания. Суть не в этом. Ультрареакционный фашист или же американский пилот бомбардировщика тоже умели быть храбрыми. Не в этом, выходит, дело, и ты, дорогой, хорошо знаешь, в чем: надо уметь быть счастливым вопреки личным проблемам и трудностям, находить радость в великой общей борьбе за народное дело и в этой общей радости личные печали растворять, как в царской водке. А он так не может. До сих пор не научился, и трудно сказать, научится ли.

Он выпрямился и сердито пнул перила острым носком ботинка. Ему нужна разрядка. Напиться в стельку или пойти к какой-нибудь сисястой бабе с приятной мордашкой — хоть на минуту испытать какую-нибудь вполне материалистическую,

недвузначную радость. Избавиться на какое-то время от страшно изнуряющей Ирены. Он стал хищно осматриваться. Все эти буржуазные дамочки — шлюхи, всегда готовые к разврату.

Начал вглядываться в поток расфранченных женщин, что как раз вливался в зал Сладковского. Оттуда визжал ансамбль медных инструментов. Блуждающим взглядом Роберт искал среди женщин такую, что могла быть чем-то вроде успокаивающей таблетки. Увидел Жофию Бернатову и окликнул ее почти пижонски:

— Хеллоу, Жофочка!

Жофия Бернатова подняла свои фиалковые глазки и профессионально удивилась:

— Здравствуй, Роберт! А где Ирена?

Он доверительно взял ее под руку и махнул рукой:

— Потанцуем? Ты, я смотрю, тоже без Педро.

— Он тебе не попадался?

— Нет.

— Ну ладно. Наверное, снова где-то напивается. Я сегодня уже вытаскивала его из бара. Представляешь, пришлось влить в него почти литр черного кофе. А сейчас опять исчез.

— Оставь его в покое.

— Его оставишь… — ответила Жофка. — А у тебя

как, Робочка? Что ты сейчас делаешь? Целый век мы с тобой не виделись.

Оркестр начал играть, но не то, чего он подсознательно ждал. Слоу-фокс. Ему же хотелось чего-то погорячее. *«Tiger Rag»*, или как там это обезьянство называется. Но играли слоу-фокс, унылый певец уже готовился у микрофона. Роберт обнял Жофку и крепко прижал к себе.

— Но, Робик… — выдохнула она с искренним удивлением.

— Пошли! — сказал он сквозь зубы. — Черт, надо же было им завести эту нудную тянучку! — Жофка тесно прижалась к нему. Груди у нее крепкие, подумал он, как я и предполагал. Он почувствовал легкое возбуждение. — Что я сейчас делаю?… — Он вернулся к ее вопросу. — Ничего не делаю, Жофочка. Я нищий лентяй.

— Да здравствуют лентяи! — воскликнула она.

— Ах, Жофия!

— Что такое?

— Да так!

Он знал себя и понимал, что сейчас начнет трепаться. Не стоило, мелькало в мозгу, но он себя знал. И было ему все равно.

— Что тебя мучит, Робик? Доверься тетечке Жофе! — произнесла она по образцу английского

разговорника. Он завертел головой. — Доверься же! — зашептала она, игриво гладя его рукав. Ему стало смешно. А почему бы и нет? Что во всем этом такого оригинального или даже святого, чтобы не рассказать Жофии? Какой смысл притворяться, будто он не знает, что ей все известно? Скольким знакомым, наверное, раззвонил об этом Сэм — так, как он это видит.

— Жофия, — театрально начал он, глядя ей в глаза. — Почему все женщины — такие чудовища?

Жофия вытаращила глаза:

— Ответь мне.

— Нет, вовсе никакие не чудовища. Как раз мужчины в большинстве — чудовища.

Она снова поставила себя в разыгранную позу. *Sex quarrel*. Некоторые идиоты в Америке решают эти проблемы интрижкой. Борьба полов. А женщины читают на эту тему лекции. Она сказала — мужчины. Он мгновенно представил себе буржуазных мужчин в пальто, с их интрижками, и желание исповедаться прошло молниеносно, как неуловимое мгновение кошмарного сна. Он видел перед собой тупые фиалковые глаза на праздной буржуазной рожице, и сквозь них проступило лицо его Ирены. И он стал самому

себе противен.

— Ты со мной согласен? — настаивала Жофия.

— Да, пожалуй.

— Ты говоришь, как будто сам себе не веришь.

— Да, да, ты права.

— Конечно, права. Знаешь, мы, женщины, — продолжала она (его передернуло), — мы, женщины, в принципе, абсолютно нормальны. Мы вовсе не чудовища, как ты говоришь. Если бы не было мужчин, которые считают, что любой ценой должны быть донжуанами, если бы они к нам не приставали…

— Сдаюсь! — воскликнул он с деланным юмором. Глупая корова! И он хотел с ней откровенничать! Поделом. И предложил: — Давай переменим тему.

Она с минутку помолчала, глядя на него пустыми глазами, похожими на обсосанные леденцы. Потом рассмеялась.

Ох, Роберт! — вздохнула она и противным голосом попробовала напеть: — *«Love, oh love, oh careless love — you brought the wrong girl into this life of mine!»*[16]

---

[16] Примечания: 16

Американская народная песня «Беспечная любовь»:

Любовь, любовь, беспечная любовь,
Ты подарила мне девчонку без души…(англ.)

Какая корова! Все у них начинается и кончается английским. Цитируют шлягеры, как раньше люди цитировали Библию. Корова! Он молчал — и своим ледяным безмолвием доводил ее до отчаяния. Не болтать нужно, а выбросить Геллена, отмолотить Ирену, потом ей все простить и снова ужасно любить ее.

Унылый эстрадный певец у микрофона сопроводил это решение идиотским английским:

– *«I can 't use no woman, if she can 't help me lose the blues…»*[17]

Жофия — над этим? — рассмеялась квакающим смехом.

Общение с Иреной Гиллмановой его не очень вдохновило. Поклонившись, он удалился, и ему было неприятно, ибо он ощущал, что не смог развлечь ее. Но потом он услышал, как его зовут волшебным голосом мечты:

— Монти! — и он, узнав голос Ренаты, быстро обернулся. Ему навстречу шла дьявольски прекрасная девушка с брильянтовым колье на шее, с темными глазами на ухоженном лице, нью-йоркская дива в модельном красном платье.

---

[17] Примечания: 17

Мне не нужно женщин,
Кроме тех, что разгонят мой блюз…(англ.)

— Хелло, Рената!
— Монтик! Не думала застать тебя здесь!
— Я как раз тебя искал, Рената!
— В самом деле?
— Да!

Они стояли, улыбаясь, друг против друга: он, сельский учитель на воскресной побывке в Праге, и она, англо-американская барышня из Института. Но в ту минуту он об этом почти не думал. Его ошеломила непосредственность идеальной красоты Ренаты. Как будто они всегда были влюбленными. Она улыбалась ему и была прекрасна, но что-то печально ностальгическое висело в воздухе. Ладно, по фигу, кто такая Рената в остальном, кто ее отец, а кто его. И предстоящий понедельник тоже. Они внезапно оказались без кожуры, натянутой на них обществом, судьбой, официальными административными документами. Они были наги, молоды, сексуальны. Как у Хемингуэя. Перед ними жизнь, которую нужно прожить за несколько часов. За несколько минут. Как у Хемингуэя. Но это неважно, так и в самом деле иногда бывает.

— Идем походим внизу, там меньше народу, — произнес он и предложил ей руку. Она сунула свою ему подмышку. Они смотрелись, как на

миниатюре из слоновой кости в золотистом свете комнаты Ренаты, увешанной теннисными ракетками. Рената, как всегда, великолепна, янтарные волосы гладко зачесаны и собраны в узел. Прелестная белая шея. Они медленно спустились по ступенькам и остановились в самом низу, у гардероба. И там она повернулась к нему и спросила:

— Ну, как же у тебя сложилось, Монти?

С минуту он не отвечал, купаясь в целительных глубинах ее черных глаз, — и внезапно это его завтра стало в тысячу раз более отчаянным, смертельно трагичным. Он ответил туманно и кратко:

— Еду.

Она молчала, потом почти шепотом спросила:

— И ничего нельзя сделать?

Он покачал головой. Рената смотрела на него серьезно, и его даже тронула эта ее серьезность, не знавшая трагики.

— Рената, мне там будет очень грустно.

— Я понимаю. — Она взяла его за руку.

— Я… — Он чувствовал, что вот-вот заплачет. — Я… Рената, у меня такая идиотская жизнь.

Она сжала его руку.

— Не печалься, Монти.

— Такая идиотская жизнь!

Он ответил на ее пожатие. Ведь он любит ее! Новое горе! Ведь у него было столько времени, а он растратил его в своих колебаниях: любит он ее или не любит, пряча от себя же дурацкую робость перед мейеровской виллой с фонтаном. А сейчас — поздно, это ему смертельно ясно. Страшная, коварная жизнь! Конечно же, он любит ее. Бархатные пальчики прохладно коснулись его руки.

— Ренка, мне хочется застрелиться.

— Но почему, Монти? Ведь ты приедешь.

Он покачал головой.

— Это невозможно.

— Глупости! Через четырнадцать дней ты будешь здесь.

— Да, на воскресенье. Я знаю. Но я не хочу на воскресенье. Я хочу всегда быть здесь. Здесь моя жизнь.

— Но ведь ты же будешь здесь.

Он улыбнулся.

— Конечно, будешь.

— Когда?

— Это не надолго. Увидишь!

Они стояли в углу, в стороне от людей, идущих в гардероб. Он погладил ее руку.

— Очень мило, Рената. Но не надо меня утешать.

Он осмотрелся. Нужно поцеловать ее. Он все еще не поцеловал ее, а теперь, наверное, это будет в последний раз.

— Ренка, пошли!

— Куда?

— Там видно будет. Уйдем отсюда. Рената, это моя последняя ночь.

Она колебалась. Он настаивал:

— Последний день жизни.

Она приложила пальчик к его губам:

— Тихо! — и это возбудило его так, как никогда никакой *petting* с ней в прошлом. Это уже не рецидив прежнего флирта. *Fucking*, нежный и страстный — куда бы с ней деться, чтоб наверняка? Почасовые гостиницы эти идиоты закрыли. Да и не пошла бы она с ним туда. Деревенская это выходка, вдруг с ужасом понял он и снова почувствовал смертельную жестокость судьбы. Да и ляжет ли она с ним, даже в своей вилле с фонтаном — это тоже вопрос. Раньше надо было начинать. Гораздо раньше. Надо было наплевать на свои комплексы и попасть к ней в постель еще тогда, в летнем лагере в Крконошах. А сейчас — поздно. Разве что милый старый *petting* где-нибудь за углом…

— Пошли, Рената! — настаивал он.

— Ну пошли!

Он почти бегом понесся к гардеробу. Казалось, вечность прошла, пока принесли ее шубку. Пока он помогал ей одеться, белая шея в вырезе платья какое-то мгновение принадлежала ему, на миг ему удалось забыть о завтрашнем дне и думать только о ближайших минутах. Пока он сам надевал пальто, Рената завязывала черный кружевной шарф. Потом она повернулась к нему, дьявольски красивая, взволнованная: в молчании предварительной игры, за которой не должно быть ничего, они прошли к выходу и оказались в морозной, заснеженной ночи. Не произнесли ни слова. Сразу же за углом он жадно поцеловал ее. Он хотел, чтобы… нет, не хотел… не хотел уезжать, хотел остаться здесь в Праге — навсегда. И Рената Майерова обострила это желание.

Тщетность, тщетность, тщетность… Потом появился Педро Гешвиндер и поклонился ей, как лорд. Глаза его красны с похмелья, но Ирену обрадовало его появление. Она уже собиралась домой, думала о руках Роберта, о том, как она обопрется о него в трамвае, и Роберт даже не пошевелится, радуясь, что она с ним, — и вдруг появился Педро.

— Можно пригласить тебя на танец, Ирена? — произнес он галантно — все такой же, как и семь лет назад в Тополове, такой же педантично светский, хотя и давно уже без таинственного очарования: все-таки первый мужчина, кто поцеловал ее, там, у пруда, а в Задворжи, на лесном мху, расстегнул ей блузку. Гешвиндер. Они смешались с толпой, и Педро серьезно, старательно, хоть и не очень успешно принялся выделывать фигуры для престарелых. Она творила с ним тогда что-то страшное, и ему, бедняжке, приходилось все вытерпеть, но он был дурачок и заслуживал этого. Она определенно знала, что в конце концов отдастся, ведь он так добивался ее. И она была бы потом с ним всю жизнь, если бы он умно и нежно нашел бы где-нибудь комнату с замком на двери и с кроватью. Но вместо этого он неистовствовал в лесах, где она бы никогда этого не сделала, и был агрессивен, строя из себя мужчину, дурачок. Бедняжка Педро. Он мог бы стать ее мужчиной, не Роберт. Блестящий молодой человек, с его двенадцатью костюмами, сплошь из английских тканей темных тонов, он не сумел сделать то, что удалось потом Роберту: выманить родителей и привести ее к себе домой. Лунной ночью в Задворжи он расстегнул ее клетчатую блузку, и она не

сопротивлялась, потому что под нею уже носила элегантный черный лифчик, и позволила ему целовать свое плечико, и еще ниже, но потом ей стало жаль, что она уже не девочка, и она глупо расплакалась. А Педро был тогда страшно предупредителен, он поспешил вернуть бретельку на место, застегнул блузку, обнял ее: «Хорошо, хорошо, моя девочка, не будем, если не хочешь», — и потом, наверное, у него так же болело, как у Сэма. Только он молчал об этом. Педро — господин и джентльмен, не такой грубиян, как Сэм, который все ей выбалтывает и все время как-то странно подчеркивает, что она ему нравится потому, что выглядит как мальчик, а Ренату он, мол, отверг из-за ее обильной женскости. Болтун и трепач. Гешвиндер откровенно пялился на нее, как тогда в Задворжи, у реки, когда она показывала ему себя, медленно, по частям снимая купальный халат; сейчас он вдруг вытанцевал сложную фигуру и спросил:

— Ты счастлива, Ирена?

— В чем?

— В своем супружестве?

— Вполне. А ты в своем жениховстве?

Гешвиндер заморгал:

— Жофия — хорошая девушка.

— Ты на ней женишься?

Он покачал головой:

— Нет. Пока нет. Еще есть время.

— Когда закончишь институт, да?

— Может быть.

Она видела, что ему хочется поговорить о старых временах. Но, подумав, она решила не трогать прошлое, хотя очень приятно слушать слова любви, и от давно оставленных полулюбовников — пожалуй, даже больше, чем от других.

— А что собирается делать после института Роберт? — спросил Гешвиндер.

— Наверное, пойдет на радио.

— Еще не решил?

— Не совсем.

Пауза. Он обнял ее.

— А у меня уже все решилось, — сообщил он.

— Да?

— Для начала — девять тысяч в месяц.

— Вот как! — Она сделала большие глаза. — Поздравляю, Педро!

— Мне дают в свое распоряжение авто, — продолжал он небрежно. — Вот это будет жизнь!

— И барышни, конечно?

— Будут и барышни, — твердо ответил он. — Каждую субботу на машине за город… — Он

замолчал. Сейчас последует приглашение. Она знала такие сценарии. — Ты приедешь когда-нибудь меня навестить, Ирена?

— Уж лучше ты меня, когда будешь с машиной. Как-нибудь откажешься от барышни и вывезешь за город меня, а?

Он улыбнулся.

— Ты позволишь?

— Конечно.

Она посмотрела на его губы. Тогда она шла домой после их свидания с застывшей шеей и несла его поцелуй на губах до самого дома, на ночь даже зубы не чистила, чтоб хранить его подольше. Педро, первый мужчина, который ее поцеловал. А сейчас он говорил:

— Знаешь, я с тобой часто встречаться не смогу. Из-за Жофии, естественно.

— Естественно.

— Но мне хотелось бы встречаться с тобой.

— Для чего?

— Ну, поговорить хотя бы. Ведь мы с тобой довольно много пережили, как ты думаешь?

— Еще бы! — Ее реплика немного растрепала его официальную романтику, а заодно и натянутую добродетель, ибо он тут же выпалил:

— А тебе не хотелось бы снова, Ирена?

— Что?

— Ну, встречаться со мной время от времени? Хотя бы раз в месяц.

— Пожалуй, нет.

— Я бы ничего от тебя не требовал. Просто так, для души.

— А для чего еще?

— Ни для чего. Только для души.

— И ни для чего больше?

— Ну, — он состроил виноватую улыбку, — разве что поцеловать себя как-нибудь позволишь, ты ведь такая сладкая девочка.

— Это мне тоже не интересно.

Он заморгал.

— Просто так, поговорить, Ирена.

— Где уж! Тебя опять потянет на прежнее, Педро. И тебе станет скучно видеть во мне только ангелочка.

В его глазах читалось откровенное желание:

— Ну, если б ты захотела…

— Я бы не захотела, — спокойно ответила она.

— Нет?

— Нет.

Он снова замолчал. Она тоже молчала, ждала второй сет. А как она плакала, когда он ее бросил! Он не должен был. Будь он по-настоящему ум-

ным, они могли бы остаться вместе.

— Ирена! — вдруг вспыхнул он. — Если б я был свободен, ты бы еще подумала, как избавиться от Роберта! Этого болвана!

— Ты ведь его толком не знаешь.

— Но знаю, что он баран.

— С чего ты взял?

— Если б не был бараном, он бы…

— Что?

— Да ничего.

— Так что бы он?…

— Короче, не позволил бы тебе путаться с Гелленом.

— А он мне позволил?

— Ну, сама знаешь…

— Именно потому, что он вовсе не баран.

— Все это лишь слова, Ирена. Если б ты не была…

— Договаривай!

— Если б ты не была такой закоренелой…

— Ты хочешь сказать — глупой или что-то вроде?

— Нет-нет, Ирена, честно.

— Ну хорошо. Так что было бы?

— Ирена, представь себе, как мы с тобой могли бы жить!

Она быстро представила. Наверняка была бы кафельная ванная. Педро всегда умел делать деньги. Но уже ничего не попишешь. Поздно. А Педро — идиот. Вслух же она спросила:

— Ты мне это предлагаешь?

— Если бы ты захотела, Ирена.

— И ради меня ты бы оставил Жофию?

Он покраснел. Педро — и вдруг так откровенно краснеть? Ну-ну…

— Только не ври!

— Понимаешь… Не могу, — произнес он, запнувшись, а потом быстро добавил: — Я не могу от нее отказаться!

— Почему же?

— Не потому, что я люблю ее больше, чем тебя. Но…

— Правду, Педро!

— Понимаешь, ее отец — крупная шишка в том предприятии, куда я устраиваюсь.

— Ах, душенька! — засмеялась она. — Ты прямо блеск, Педро! Ты такой чистосердечный! Я тебя страшно люблю!

К нему сразу же вернулась предприимчивость:

— Но я часто мог бы с тобой видеться, Ирена. Снял бы в городе квартирку, и мы там могли встречаться хотя бы пару раз в неделю, если б

ты захотела.

— Очень мило с твоей стороны!

— Ты бы хотела?

Жизнь явно научила его чему-то, но она покачала головой.

— Я серьезно.

— Я знаю. Но я бы не могла тебя делить, Педро.

— Тебе не пришлось бы делить. Ты же поняла, что с Жофией я из-за денег.

— Значит, с Жофочкой ради карьеры, а со мной — для души?

— Не нужно так смотреть на это…

— Нет, дорогой, номер не пройдет.

Он опустил голову. Оркестр доиграл мелодию. Педро выпустил ее из объятий, она взяла его под руку, и они медленно пошли в общем круге по залу. Он тихо и как-то жалостливо спросил:

— Ирена, ты вспоминаешь когда-нибудь?

— Вспоминаю, ты же знаешь.

— Помнишь, — каким-то актерским голосом протянул он, — как мы вместе сидели в Задворжи у воды, и ты была со мной так ласкова.

— Педро, не надо томатного соку, — сказала она тоном Власты Мандловой. Конечно, он вспоминает, это по носу его видно. Как она позволила цветастому купальному халату упасть с ее плеч,

чтоб он мог рассмотреть ее, а она не сделала бы этого, если б ее груди не загорели; она подставляла их солнцу в укромном месте за излучиной; Педро тогда что-то лепетал, а когда встал и пошел к ней, она быстро вернула халат на место. Ах, Педро!

— Ирена!

— Нет, нет. Я знаю, о чем ты вспоминаешь. Я помню, что было у воды в Задворжи. Было — да сплыло.

Было да сплыло. Совсем обнаженной она никогда перед ним не показывалась. Впервые — перед Робертом. А перед Сэмом — вообще никогда. Ни разу. Ни чуть-чуть. И теперь уже никому не покажется. Никому в жизни. Никому. В жизни. Ей стало грустно. И никого больше ее нагота не будет интересовать. Через пару лет. Она стряхнула мысли, чтобы не провалиться в них.

— Педро, не грусти! — быстро сказала она, словно перед ней стоял Сэм.

Он посмотрел на нее:

— Ирена, подумай хорошенько.

— Нет, не о чем,— улыбнулась она. Быстро закрыла глаза. Почувствовала, как ее охватывает пустота. Нет, нет, нет. В оркестре зазвучали трубы. *«Hey — ba — ba — re — bop!»*— стонали они

в дикой ярости. Она распахнула руки и с закрытыми глазами увидела, как Педро обнимает ее, пускаясь с нею в этот достойный танец; она видела, что он ее закрытые глаза толкует по-своему, лестно для себя; да, он вспоминает, но в том, что касается ее, он, как и все остальные, абсолютно ничего не понимает. *«Keep your big mouth shut!»*[18] — хрипло зарычал усилитель; труба, остро всхлипывая, взвилась вверх; никто ничего ни о чем достоверно не знает, и ей это уже все равно. Она подавила мысли, и на какой-то миг ей удалось отдаться блаженству музыки, танца и того, что мужчины все еще вьются вокруг нее.

Собираясь вечером на бал, он радовался предстоящей встрече с Ireной, но к полуночи устал от всего и ему хотелось домой. Чувства не выдерживают долгого напряжения — даже в течение одного вечера. Он зашел в бар. На столиках в прокуренном зальчике лежали несколько пьяных, у стойки двое мужчин в черном и между ними — массивная женская спина с провоцирующим вырезом. Как и прежде, он сознавал, что Ирена замужем. И — с каким-то безличным спокойствием — что сам, пожалуй, никогда не

---

[18] Примечания: 18
Здесь — «Хайло не раскрывай!» *(англ.)*

женится. Конечно, всюду полно красивых, даже прекрасных девушек, куколок с яркими губами, но что ему до этого, когда у него всегда есть какая-нибудь Ирена или Лаура — то есть некто, с кем брак исключается. Наверное, это какое-то особое сексуальное отклонение, не описанное у Кинси. Или судьба. Так или иначе, выходит одно и то же. Ирена и Лаура — красивые мальчики, а это — скрытый гомосексуальный признак, который в соединении с не изученным еще отклонением означает, что абсурдность рода Гелленов в дальнейших поколениях им продолжена не будет. Что абсолютно в порядке вещей.

Со спокойным удовлетворением он думал о множестве незначительных семейных событий. Свадьбы, ученые степени, рождения, крестины тянулись через его жизнь, не подвластные эпохе и режимам, без особого смысла. Он встал из-за столика, намереваясь вернуться наверх, в зал. У гардероба он встретил Ренату Майерову, которая собиралась уходить вместе с каким-то молодым человеком, лица которого он не разглядел. Он подумал, что, если бы тогда женился на Ренате, Ирены и всей этой тягомотины с ней могло и не быть. А что, если жениться на ней сейчас? Чисто из терапевтических соображений? Если спать с

ней какое-то время, могли бы установиться нормальные любовные отношения, и род Гелленов распускался бы и дальше, если не для чего другого, то хотя бы ради для красоты. Он посмотрел на Ренату.

Но зачем ему это? Он поднимался по лестнице без радости и без особой печали. Скоро он станет неженатым дядей-доктором Самуэлем Гелленом, а рождественские вечеринки заполнят новые девчонки в первых лифчиках и мальчишки с первой сигаретой. Конечно, если коммунисты не позакрывают все это, а скорее всего — так оно и случится. Возможно, дети Ренаты Майеровой будут воспитываться в Союзе молодежи, как и все остальные, и будут петь русские песни в клубе, устроенном в бывшей майеровской загородной вилле с фонтаном.

Внезапно — как стайка девочек, не знающих мира и тех сложностей, которые сейчас ополчились против него, — снова выпорхнули воспоминания о череде послеобеденных праздников в саду и в салоне — и унеслись в прошлое. Он остро почувствовал их волшебство. Была это по-своему красивая молодость, которая, как это всегда бывает, очень быстро пролетела. Бог знает, не проморгают ли эти нынешние из Союза

молодежи свои шестнадцать и двадцать лет. Но это, пожалуй, другая человеческая раса, не такая, как мы. Из нашего поколения старый, обанкротившийся класс высосал гормоны начала, поэтически подумал он и улыбнулся. Эти маленькие Эвочки с бантиками на головках и Гуго в белых носочках, которых тетки настраивают против большевиков задолго до школы — они, конечно, к новой расе не относятся и войдут в жизнь с капельками яда в душонках. Зачем, собственно, учить их ненавидеть режим, при котором они будут жить и о котором ничего не знают? Почему бы их не оставить на произвол Союза молодежи, где из них сделают довольных граждан, хоть и несколько ограниченных в том, что они называют «кругозором», но счастливых? Ради счастья, собственно, люди живут, а они его дать им уже не смогут. Чушь, сказал он себе, марксистское клише. Но все же остался в тягостном сомнении: а может, они правы?… Ведь всегда так было, от первоначала. Жизнь основана на фальши, на притворстве, она не имеет ни цели, ни смысла, жизнь класса обречена на вымирание. Он снова улыбнулся. Для такого анализа ему, конечно, пришлось почитать Маркса, а сам он к чему пришел в конце концов? Человек рождается в рамках обще-

ственного класса и неминуемо остается в нем на всю жизнь. Маркса нужно дополнить Фрейдом. Никакого внутреннего перерождения! Никакой смерти и возрождения Самуэля Геллена! Можно лишь изменить точку зрения, но то, чем человек живет, — в нем; то, из чего творятся его счастье и несчастье, — всегда остается, оно неизменяемо и — может быть — вечно.

Он прошел через фойе, поздоровался кое с кем из знакомых. У входа в зал появился Педро Гешвингер с Иреной, и все теоретические построения вдруг стали относительными. Он слышал, что Гешвиндеру, этому явному фашисту, уже гарантировано место в национализированном строительном тресте. Кто-то говорил, что его даже взяли в партию. И будет он с удовольствием получать зарплату от коммунистической власти, а если у них с Жофией будут дети, выйдут из них образцовые реакционеры. А может быть, через пару лет они будут посещать какие-нибудь экстра-школы, какие-нибудь английские гимназии только для избранных, а Жофия будет шить у какой-нибудь новой Подольской. Для Педро не существует проблемы истины, есть только проблема карьеры. А ее нетрудно решить, если человек не слишком ленив или не слишком

принципиален. Так как же объяснить, что буржуй Педро может быть счастлив и в коммунизме? Может, Маркса следует не дополнять Фрейдом, а исправить Фрейдом? И дело вовсе не в классовой принадлежности, от чего-то другого зависит многое, если не все. Неестественно огромные глаза Ирены залили галерею светом ядовитой зелени. Он плюнул на условности, отнял Ирену у Педро и сразу же превратился из социального философа в покорного слугу этой женщины, готового послушно декламировать привычный молитвенник.

— Пойдем посидим, Сэм, — сказала эта женщина. — У меня страшно разболелась голова.

Он охотно согласился. В конце галереи они уселись в кожаное кресло на двоих, и чахлая пальма их скрыла.

— Очень болит? — спросил он.

Она ответила вопросом:

— Сэм, кто я для тебя?

Начался обычный катехизис:

— Душенька.

— А дальше?

— Солнышко.

— И?

— Милочка.

— А еще?

— Смысл жизни.

— Да, — удовлетворенно сказала она. Интересно, способен ли Роберт придумать более пестрый диалог, но времени на размышления у него было немного, нужно исполнять следующую часть работы:

— Ирена, скажи мне что-нибудь?

— Что?

— Ты же знаешь.

— Что я тебя люблю?

— Ну скажи!

Она склонила голову и послушно, как в школе, ответила:

— Я тебя люблю.

— Не так, Ирена. Скажи серьезно!

— Я серьезно.

— Ирена, ты действительно меня любишь?

— Конечно.

— Ну так скажи.

— Люблю тебя.

— Нет, ты говоришь это в шутку.

— Я не шучу.

— Нет, шутишь. Ты же знаешь, как я тебя люблю, но…

— Сэмми, я тебя люблю, — быстро сказала она. — Я ведь все время с тобой и все для тебя

сделаю, достану тебе классные цветные носки и все, все, все.

Он взял ее за руку. Ему всегда нужны от нее эти заверения — иначе для него рушился весь мир. А поскольку после *verbo* не следовало никакого *carго*,[19] мир все равно рушился и литанию можно было начинать сначала.

— Ирена!

— Что еще?

— Ты действительно не можешь?

— Не могу, Сэм.

— Я от этого умру.

— Не умрешь. И не будет никакого воспаления. Найди себе для этого какую-нибудь девчонку.

— Но я хочу с тобой.

— Со мной нельзя.

— Другие — не такие, как ты.

— Такие.

— Но ты же сама говорила, что не такие.

— Такие, такие.

— Но я же знаю.

— Слишком много ты знаешь!

Она погладила его по руке и взяла в ладони его пальцы:

---

[19] Примечания: 19
Здесь — глагол, плоть *(лат.)*.

— Не будь смешным, душенька. У тебя ведь такие красивые глазки.

Он улыбнулся, — тут застонали саксофоны, — посмотрел в ее огромные глаза, и там в зеленой тени увидел что-то постороннее, маленький силуэт, и понял, что это Роберт и что он стоит за его спиной. Он быстро высвободил пальцы из рук Ирены. На мгновение время остановилось. Роберт, наверное, сделает вид, что ничего не заметил. У него большая практика в этом. Но Роберт приближался; казалось, Ирену он не видит — только его. Безумные глаза чуть ли не вылазили из орбит. Сэм окаменел. Не зная, что делать, он остался сидеть. Роберт в своей ярости казался огромным, он на мгновение навис над Иреной; мелькнула мысль, что все обойдется, но сразу же увяла, ибо Роберт, едва владея собой, произнес:

— Сэм! Выйдем со мной! Выйдем! — и схватил его под руку. Почти поднял. Подчиняясь его воле, Сэм сделал несколько шагов. Он чувствовал, как Роберт тянет его к выходу. Он понимал, что Ирена смотрит на них и что он под рукой Роберта выглядит жалко.

Наконец он в его руках, этот паршивый Геллен; он чувствовал, что силы в нем больше и он мог бы сейчас избить его до потери сознания; хотелось

бить его по носу, по губам — до крови расквасить эту смазливую буржуазную морду ловеласа, но уже не было той спонтанности и бешенства. Когда он тащил его через галерею, ему было противно от собственной слабости, от своей оглядки на окружающих, которых, к сожалению, нельзя порадовать сценой, где он, товарищ Гиллман из партийного комитета, в Доме приемов избивает доктора Геллена, хронического любовника его жены. Конечно, надо его наказать, чтобы все эти американские пижоны видели, что ему наплевать на их сплетни, на реакцию коровы Жофии Бернатовой или идиота Гешвиндера. Пусть будет сенсация! И сенсация для него самого! С другой же стороны, — вертелось у него в голове, когда он вел Сэма перед собой под руку, — это только эмоции, красивые слова; он понимал, что не сделает этого. За руки! Они с Иреной держались за руки! Он не собирался их заставать врасплох, — лишь предупредить, потребовать, чтобы наконец оставил его жену в покое, но когда он увидел их в любовном томлении — прилюдно! — вспыхнуло желание избить, говорил он себе, — нормальное желание освободиться от бушующей в нем ярости. Он резко дернул Геллена и развернул лицом к себе. Тот стоял неподвижно, тупо, со страхом

глядя на него. Ждет пощечины и боится, мелькнуло в голове, и он сказал:

— Сэм, отстань наконец от моей жены!

Это прозвучало настолько твердо, что удивило его самого. Геллен стоял с глупо неподвижным лицом и ждал.

— Я предупреждал вас, — продолжал Роберт, — ибо надеялся, что у вас хватит ума. Но больше я терпеть не намерен!

Геллен наконец открыл рот и меланхолически произнес:

— Я понимаю.

И тут Роберт снова завелся. Небось думает бежать сразу к Ирене, стоит ему успокоиться. Ну погоди! В голове мелькнула идея. Все-таки он изобьет его!

— Я так больше жить не могу. Пусть я кажусь вам слишком ординарным, но я этого не вынесу. Так и знай!

— Я понимаю, — повторил Сэм.

— Все это — ни уму ни сердцу. И рвет нервы. Я требую, чтобы ты больше не подходил к Ирене.

Геллен снова кивнул, и Роберт продолжал:

— Послушай: я предложил Ирене развод, но она и слышать не хочет. А мне все это противно. Либо ведите себя порядочно, либо не подходите друг к

другу. Я хотел уйти от нее, но она приползла со слезами, умоляя остаться. Так что… — он сделал паузу, — …уйти должен ты.

Геллен не ответил.

— Ты понимаешь?

— Я понимаю, — повторил Геллен в третий раз, опустив глаза. Потом сразу поднял их и преувеличенно серьезно сказал: — Я не буду с ней встречаться.

— С этой минуты! С этого места! И никаких прощаний и всяких там штучек!

Геллен снова покачал головой, но Роберт был убежден, что тот обдумывает, как все же остаться с Иреной. Знает он цену его обещаниям! Самуэльчик никогда не был щепетильным. Наобещает с три короба, но потом все пойдет по-прежнему, и Сэм будет болтать все, что угодно. Роберт прекрасно понимал это и выслушивать Сэма не собирался.

— Пока, Роберт, — грустно произнес Геллен и подал ему руку. Роберт вяло пожал ее и подчеркнуто холодно ответил:

— Пока, Сэм!

Самуэль явно хотел сказать что-то еще, но раздумал. Очевидно, не ждал такой лаконичности и решительности. Повернулся и медленно пошел к

лестнице. Роберт смотрел ему вслед, пока Сэм не исчез. Потом поискал взглядом Ирену. Она стояла у портьеры в другом конце галереи и смотрела в его сторону. Словно не видя ее, он направился в другую — но так, чтобы не терять Ирену из виду. Он знал, что Сэм уже пробирается сюда по какой-нибудь боковой лестнице. И попадет в ловушку! Он представил, как Сэм бежит каким-то полуосвещенным коридором, он уже пришел в себя: неприятности позади, можно снова пуститься в авантюру. Но в этот раз у него не получится.

Роберт зашел в курилку и встал за стеклянной дверью. Ирена по-прежнему посматривала по сторонам, расхаживая туда и обратно по галерее. Ждала Сэмчика. Он стоял и смотрел на нее. Ночью, в постели, она принадлежит ему, но никогда — полностью. Все то, от чего у него кружится голова, — тоже его. И тем больнее, что большая часть ее нормальности, ее мыслей, ее мира ему недоступны, украдены у него, спрятаны за семью замками. Он смотрел, как она нервно ходит от зеркала к зеркалу, как блестит на ней тафта, и чувствовал, что в тайну этих огромных зеленых глаз ему не проникнуть. И он снова подумал: избив Сэма, он ничего не решит. Но тянет это сделать. Ему нужно дать выход своей ярости, на-

громожденной ненависти. А потом все начнется снова. Сначала пауза. Потом письмо, которое он не посмеет вскрыть, потому что Ирена смертельно обидится. Потом выход в город за покупками, прогулки без определенной цели, и где-нибудь в «Палац-отеле» или «У Мышака» все начнется снова. Но избить его он должен непременно. Это желание в нем уже за границей воли и сознания. Ирену тоже. Плеткой, которая приготовлена для Боба, но никогда не использовалась. По заднице, обтянутой темно-голубой комбинашкой. Исполосовать до крови. Чтоб рыдала от боли, умоляла, а потом дала себя грубо, жестоко изнасиловать. Да. Так он и сделает. Сделает… Он понимал, что ничего этого не будет, но — черт возьми! — как ему хочется. Ирена прохаживалась от зеркала к зеркалу и взглядом искала Геллена. Так вот она, его счастливая любовь, его счастливое супружество. Оно все ему испортило. Все в мире прекрасно: республика, институт, социальные отношения, и в этом прекрасном мире рушится его собственный мир. Ах, черт побери, бедные пролетарские влюбленные в капиталистическом мире, — пришло ему в голову, — были гораздо счастливее, чем я, у них своя страна любви, которой не нужен внешний мир. А он, под солнцем

социализма…

Он впился глазами в Ирену. Она ведь принадлежит ему! Плюнуть на ее гнилое окружение — это ведь от ее душевного смятения. Она — его, и она любит его. Он ведь чувствует это в постели. Как прекрасны были их вечера на каникулах, когда он хотел ребенка! К черту все! Это его Ирена! Его! Пусть мучится Самуэль Геллен и все остальные! Пусть он, муж, не читает ей стихов Элиота, но он спит с ней в одной постели. И это важнее душевных отношений. Он материалист. И сделает ей ребенка. Иренка будет плакать и сокрушаться, когда забеременеет, и будет стыдиться выходить на улицу. И именно это исправит их жизнь вместе. Да. Он сделает ей живот. Снова он смотрел, как она ходит туда-сюда, от зеркала к зеркалу. Решено. Лучше испортить ей фигуру, чем позволять эту — пусть чисто духовную — связь с Гелленом. Ирена вдруг остановилась, глядя куда-то в толпу. Лица Геллена не видно было нигде, но Ирена остановилась меж двух зеркал и ушла в бесконечность в их бесконечной оптике. И — неистовая его решимость надломилась: все это напрасно. Только постели ему не хватит. Он должен иметь больше, если не все. Иметь все, чтобы стать прежним Робертом Гиллманом — каким он хочет быть.

Он понимал, что всего он не получит. И понимал также, что без этого не будет счастлив. И что все он никогда не получит. Он помрачнел, с усилием освобождаясь от этих мыслей. Ждал появления Самуэля Геллена. Для счастья ему нужно ВСЁ!.. Он знал, что Самуэль вот-вот появится.

Бунни — с его бродвейской гитарой, прислоненной к стулу, и круглым банджо на коленях, отутюженный, элегантный как рояль Бунни Бендел! — и рядом с ним эта счастливая троица, тоже на стульях, без каких-либо пультов: ноги в подтянутых брюках отбивают носками вечерних туфель сложносоставной ритм *«Mabel's Dream»;* Клавес, чьи губы навечно приклеились к мундштуку кларнета, а пальцы проворно бегают по черному дереву; Алекс, рыжий, складки шеи затапливают белый воротничок, с допотопным рожком; старина Венца — хребет диксиленда с *tailgate*— тромбоном, странный тип, который ищет для всего на свете свои запаздывающие акценты, одинокий, чарующий индивидуалист; и над ними всеми — чудак Индра с его абсурдной, чуть помятой тубой вокруг всего тела. Недосягаемый ночной мираж блаженства. Так, и что же со всем этим делать? Маяться дурью за барабаном, выбивая старомодный, судорожный

ритм на колокольцах? Или скрести наперстком по стиральной доске, как у Кучера, и улыбаться девчонкам поверх нее? Как бы не так! Это был бы уже не Зеткин свинг-бэнд.

Он стоял в дверях и наблюдал их всех за работой. В руке держал мятый платок, пропитанный кровью. Да, конечно, без всяких сомнений, совершенно определенно. Лидия не танцует, она с религиозным восторгом таращится на Бунни. Р-р-р-ра, р-ра. Р-раздирающие звуки *washboard'a* царапали ему уши. Музыка небес, с которой он несчастен. Потеряна Лидия. Потеряна музыка. Потеряна жизнь. Будь это раньше, при старой республике, он уехал бы, по крайней мере, в Швейцарию, вагоном первого класса; отец, встревоженно косящийся на его *«Wilson»*, матушка в слезах; уехал бы с Эдитой, которая жаждет за границей новых любовных интрижек и официально добивается визы; в своем новом дорожном костюме от Подольской она бы высовывалась из окошка *wagon-lit*,[20] чтобы помахать белым платочком. *«Отъезжающий машет белым платком»*, — звучало у него в душе, взволнованной контрапунктом новоорлеанского трехголосия;

---

[20] Примечания: 20
Спальный вагон *(фр.)*.

«Каждый день что-нибудь кончается, — прижимал он с новым приступом кашля платок к губам, — *что-нибудь прекрасное подходит к концу».* И лежал бы он в Швейцарии, на террасе отеля в Сан-Морице, слушал бы новые пластинки компании *«Brunswick»* с новым Стэном Кентоном, читал бы американские романы и подставлял бы свою немощную грудь лучам альпийского солнца; и писал бы с альпийских гор письма Лидии, и все было бы прекрасно… Но не поедет он никуда, и ничего прекрасного не будет.

Только койка в Смоковце, только замшелые пражские приемные, где он просидит всю задницу в ожидании пневмоторакса, слушая песни строителей будущего из матюгальника за углом. И каждое утро — «Руде право», никаких тебе *«Mabel's Dream».* Корнет Алекса начал всхлипывать с таким блаженством, что Франци с его персональным несчастьем стало плохо. Он почти бегом пронесся через зал к веренице застекленных дверей на балкон. Может ли кто-либо уразуметь, каково это — знать наверняка и бесповоротно, что тебе уже никогда-никогда не дано играть в диксиленде? Что ты раздавлен двойной катастрофой — бездарностью и туберкулезом? И что Лидия никогда… Он вышел на балкон,

затворил стеклянную дверь за собой. Внизу искрилась свежим снегом площадь, над которой вздымался Коммерческий банк на фоне черного неба. Фонари выплевывали на снег холодные конусы света. На снегу было тихо — лишь кучки субботних полуночников-пешеходов топтались на остановке трамвая. Все в нем замерло перед запредельной красотой элегии ночи. И все же — он чувствовал это чересчур хорошо! — то была лишь очередная минута из летучих, обманчивых ошметков Времени, что остаются в человеке и из которых в конце концов складывается остаток жизни. Воспоминания и сны. Только они, понимал он. И потому сегодня, в зимнюю ночь, манящую своей искусственной красотой, ему было невыносимо грустно — и отчаянно, до звериного ужаса одиноко.

Ирену Гиллманову слегка разочаровало — и в то же время она облегченно вздохнула, — что Роберт ничего с Сэмом не сделал. Потом ее несколько удивило, что Роберт не пришел за ней. Она ждала скандала и немедленного ухода домой, но муж куда-то исчез. Она гуляла вдоль галереи, высматривая Сэма. Держаться за руки, конечно, не стоило, но что в этом такого? Роберт знает, что с милашкой Сэмом она держится за руки и

Сэм — грустный и несчастный, так что нечего Роберту злиться. Она ходила туда и обратно и думала о Сэме, о Роберте, о Педро, об Иржинке. Потом — ни о чем. И тут перед ней появился Сэм — он неуверенно посматривал по сторонам.

— Его нет?

— Роберта?

— Да.

— Нет.

Он перестал осматриваться и сказал:

— Ирена, я пришел с тобой проститься. Роберт разозлился.

Он снова оглянулся.

— О чем вы говорили?

— Я молчал. Говорил только он, — сказал Сэм уже со своим обычным сарказмом.

— А что он говорил?

— Он запретил мне даже подходить к тебе.

— Он сумасшедший.

— Да. Ирена, скажи, пожалуйста, почему ты с ним не разойдешься?

— Не могу.

— Но ведь он в самом деле сумасшедший, Ирена. Клинический случай. Я ждал, что он вот-вот меня ударит.

— Я это знаю, но разойтись с ним не могу.

— О господи! — вздохнул Сэм и умолк. Она уже сбилась со счета, сколько раз они обсуждали эту тему. Он стоял перед ней такой понурый, усталый и поблекший. И она вдруг поняла его суть. Самуэль Геллен. Не слишком действенное средство от пустоты существования. Милашка, которого нельзя обижать, потому что у него, хотя и строит он из себя циника, нервы как у девчонки. Для знакомых — ее любовник. Солнышко, душенька Сэм. Сын доктора медицинских наук Геллена. И все. Не хватало стержня, который бы соединил это в нечто цельное. Она видела одни разрозненные эпизоды, пытаясь понять, что такое «Сэм». Она, скорее всего, не любит человека, что стоит сейчас перед ней. Такого. Она любит совсем другое. Ветер, гнущий осеннюю траву на косогорах. Потому что там ее сопровождал Сэм. В тот осенний день ей было холодно — она не надела чулок; и настроение неважное: он пришел не вовремя и помешал готовиться к какому-то коллоквиуму, где уже поджимал срок. А сейчас она любит ощущение того осеннего дня. Теперь вот Сэм стоит рядом, и она не любит его. Но потом, через полгода, она будет любить эту минуту в галерее, на изменчивом фоне девичьих платьев, с этими золотыми звуками джаза. И будет она стоять с Сэмом где-то

в другом месте и украдкой посматривать на часы. А еще через полгода будет сентиментально вспоминать именно об этих часах. И о Сэме. О том, что такое «милашка Сэм». Ах, все это цирк. Нужно сказать что-нибудь абсурдное.

— Сэм, я тебя люблю!

— Ты серьезно, Ирена?

— Серьезно.

На мгновение он задумался, потом взял ее за руку:

— Ирена…

Из-за его спины вынырнул противный Роберт Гиллман; он сейчас настолько походил на злодея из старого фильма в «Олимпике», что Ирена рассмеялась.

Иржина видела, как Роберт Гиллман напал на Сэма, дернул так, что тот чуть не упал, и как потом быстро повел его к лестнице, скрутив каким-то приемом джиу-джитсу, и Сэм как-то смешно припрыгивал сбоку. Во все глаза таращась на происходящее, она перестала слушать доктора Гавела, который в тот момент что-то говорил ей об автомобилях. Сначала она не поверила своим глазам, а потом — триумф: они сцепились! Болван Семочка и болван Гиллман дерутся! Доктор Гавел перевел взгляд в ту же сторону зала: Ирена

Гиллманова уходила, там только что стояли эти двое, но их уже не было.

— Извините! — выдохнула дочь помещика. Она уже не видела, как доктор поклонился, по-прежнему не понимая, почему его собеседница так резко оборвала его на полуслове. Но ей было все равно. Семочка! Наконец-то он получит то, о чем сам давно уж говорил! А Гиллман оскандалится! И пусть Гиллманка посмотрит на это! Она быстро прошла к лестнице и, присобрав платье, почти побежала за этой парой, которая уже покидала фойе. Вот это да! Вот это событие! Дрожа от нетерпения, она перескакивала ступеньки, не спуская с Роберта глаз. На нее стали оглядываться, но она не обращала внимания. Быстрее. Ничего не упустить. Быстро. Ее раздражало, что по лестнице так неудобно бежать. Роберт и Сэм исчезли в дверях. Каблуки бальных туфель быстро цокали по мрамору. Второй пролег. Она сознавала, что подол ее платья задран почти до колен, но… Резкой судорогой вдруг свело ногу, она чуть не упала, и сразу же — нетвердые шаги. Ее повело вниз — она почувствовала, как ее тянет лестничный уклон, последние шаги — шаги почти на цыпочках, почти не касаясь мрамора, а потом она оторвалась от лестницы, в ушах зазвенел короткий женский

вскрик; она увидела, как грани ступенек вдруг полетели на нее; какие-то быстрые движения черных силуэтов внизу и рядом с ней; ступеньки приближались, она летела к ним; я поскользнулась, пронеслось у нее в голове, какой стыд, какой стыд, опять именно с ней это… И потом лишь хруст удара, тьма, тусклый свет, движение лиц и рук над ней, руки, какие-то руки стягивают с нее платье через колени, жар унижения, потом ее везут куда-то, машина, снег, и снова тьма, какая-то неясная боль везде — ах!.. Этот болван Семочка…

Все происходило как в кошмарном сне, и едва они оказались снаружи, на морозном зимнем воздухе, Роберт развернул его и нанес прямой удар в нос. Сэм ничего не мог сделать. Свалился в снег, и лицо Роберта оказалась где-то высоко над ним. Потом он встал, прикрывая нос рукой, и почувствовал, как кулак Роберта впился ему в желудок. «Свинья!» — услышал он голос Роберта. По лицу потекла кровь. Роберт нависал над ним, как огромная жаба с маленькой головой, лицо искажено злобой. Злой Роберт. Снова Сэм лежал на снегу, в смокинге, осознавая, что это наконец произошло. И вовсе не так ужасно, как он себе представлял, когда ему приходило в голову, что такое может произойти. Он лежал на снегу и тихо

истекал кровью. Торчащая над ним голова Роберта медленно развернулась, он видел ее теперь в свете ламп над входом… И здесь же, у входа, он увидел Ирену. Она стояла в блестящем черном платье, освещенная со всех сторон и прекрасная. К нему пришло спокойствие. Это все — ради нее. Теперь он и на практике пережил один из последних уроков теоретической сексологии. Драку из-за женщины. Он лежал на снегу и смотрел в спину Ирене — Ирена уходила в Дом приемов с Робертом. Пусть он уводит ее. В Ирене он теперь уверен. Он может быть уверен в ней, тогда как Роберт должен стеречь ее постоянно. Всю жизнь. Или же пока она не постареет. Таков удел мужей: благо супружеских прав, но и необходимость стеречь. А удел влюбленных — лежать иногда на снегу с разбитым носом, но всегда возвращаться. Никогда не быть под каблуком. И, наконец, возможность исчезнуть, когда красоты мира начнут утрачиваться.

Он приподнялся на локтях и увидел, что над ним снова кто-то склонился. Повернул голову. Против света фонаря — лишь черный силуэт мужчины в шляпе. Но с другой стороны стоял еще кто-то. Снова повернул голову. Бронзовое солнышко в шубке, накинутой на белое бальное

платье. С минуту он соображал, где уже видел ее. И потом блеснуло воспоминание. Златовласая красавица. Бронзовая красавица. Голубой комбинезон, слегка помятый в паху. Она падала ему в руки, как в кино. Будто с неба. Да, в трамвае, голубые глаза сейчас сострадательно смотрят на него. Все-таки есть бог на свете. Он чувствовал, что его природная реакция в Драке не пострадала, и что на лице сама собой возникает улыбка, которая так ему идет, и как голос его по-киношному восклицает:

— Хелло, солнышко! Не пропадай!

Лицо бронзовой красавицы вдруг изменилось. Красивые губы сложились враждебной дужкой. Потом это лицо отпрянуло, и он услышал презрительный голос:

— Какой наглый пижон! Сегодня их в «Репре» полно.

— Таким бы лопату в руки! — ответил мужской голос.

Нет, этого не может быть, этих слов она не могла сказать, моя рыжая аполлинеровская красавица!

— Барышня, подождите! — крикнул он и попытался встать. Ноги разъехались, и он с громким выдохом упал. И тут же снова стал подниматься.

— Пошли, Ярко, — услышал он голос рыжей

красотки. Рыжая? Или златовласая? Или бронзовая? Она не может говорить так! Он перевернулся на живот и с трудом встал на колени. Увидел рыжее солнышко под руку с парнем в зимнем пальто. Бронзовая голова, казавшаяся в свете ламп огненным шаром, удалялась в сторону Коммерческого банка. Он встал на ноги, голова закружилась. Она не должна была так говорить! Вокруг него образовался кружок любопытствующих. Ах, прочь, прочь, прочь, прочь от всего этого! Раздвинув зевак, он медленно побрел к «Репре». Она не должна была так говорить. Что? То. Что? А-а-а-а — *damn it all! Damn it*! Ковыляя по ступенькам к гардеробу, он вытирал платком кровь, думая только о том, чтобы взять поскорее пальто и отправиться домой, в постель, и выспаться от всего. И в то же время он совершенно ясно осознал, что это невозможно. Никогда за годы всей своей жизни не сможет он прийти в себя от всего этого. От этого кошмарного сна. От этой действительности.

Наход, весна 1950 г.

Послесловие
Йозеф Шкворецкий – биография несогласного

Чешский писатель и сценарист Йозеф Вацлав Шкворецкий родился 27 сентября 1924 года в богемском городке Находе. Отец его, Йозеф Карел, работал клерком в банке и одновременно выполнял обязанности председателя местного отделения патриотической организации «Гимнастическая ассоциация «Сокол». Как следствие, его арестовывали и сажали в тюрьму как коммунисты, так и фашисты. В 1943 году Йозеф закончил реал-гимназию и два года работал на фабриках концерна «Мессершмитт» в Находе и Нове-Месте по гитлеровской схеме тотальной занятости населения «Totaleinsatz». Затем его призвали в фашистскую военно-строительную организацию Тодта рыть траншеи. Оттуда в январе 1945 года он благополучно дезертировал и в оставшиеся месяцы войны тихо проработал на хлопкопрядильной фабрике.

Когда война закончилась, Шкворецкий год проучился на медицинском факультете Карлова

университета в Праге, затем перевелся на философский факультет, который закончил в 1949-м и получил докторскую степень по американской философии в 1951 году. В 1950–1951 годах преподавал в социальной женской школе города Хорице-в-Подкрконоши, затем два года служил в танковой дивизии, расквартированной под Прагой в военном лагере Млада, где впоследствии во время оккупации располагалась штаб-квартира Советской армии.

Примерно с 1948 года Шкворецкий входит в подпольный кружок пражской интеллигенции, с которым были связаны Иржи Колар — поэт и художник-авангардист, писатель Богумил Грабал, композитор и автор первой чешской книги по теории джаза Ян Рыхлик, писательница-модернистка Вера Линхартова, теоретик современного искусства Индржик Халупецки. Часто посещая полулегальные встречи группы пражских сюрреалистов на квартире художника Микулаша Медека, Шкворецкий становится довольно известным среди джазовых музыкантов и неофициальных литераторов начала 50-х годов человеком.

Свой первый небольшой роман (на самом деле — третий) «Конец нейлонового века» Шкворец-

кий предложил издателям в 1956 году, и перед самой публикацией книга была запрещена цензурой. После выхода в свет в 1958 году второго романа «Трусы», написанного за десять лет до этого, Шкворецкого уволили с редакторского поста в журнале «Мировая литература». Книгу запретили, тираж конфисковала полиция; редакторов, ответственных за ее выход в свет, тоже уволили, в том числе главного редактора и директора издательства «Чехословацкий писатель». Этот случай стал чуть ли не основным литературным скандалом конца 50-х годов и послужил предлогом для самой основательной «чистки» интеллектуальных кругов Праги. Тем не менее политический климат в стране слегка менялся, и через пять лет Шкворецкому удалось опубликовать повесть «Легенда Эмёке». Несмотря на партийную критику, книга стала одной из самых значительных литературных удач середины 60-х годов. Слежка за автором, несмотря на это, не прекращалась; к примеру, Шкворецкого приняли в Чехословацкий союз писателей только в 1967 году — и то «через задний ход»: его выбрали председателем секции переводов, что автоматически означало избрание в полноправные писатели. В 1968 году он становится членом ЦК Союза писателей, а

чуть раньше — членом ЦК Союза творческих работников кино и телевидения.

Последней книгой Шкворецкого, вышедшей в Чехословакии, стал роман «Прошлое мисс Сильвер» (в 1968 году, причем за год до этого роман был отвергнут директором издательства «Млада Фронта», заменившим своего «вычищенного» предшественника). Восьмидесятитысячный тираж его второго издания был по приказу властей уничтожен в 1970 году вместе с рассыпанным набором другого романа писателя — «Танковый корпус». Неудивительно: «Мисс Сильвер» была ядовитой и обжигающей сатирой на чешский издательский мир, цинично приспособившийся к давлению коммунистического режима.

Но Шкворецкий эти годы работал как переводчик, что позволяло хоть как-то сводить концы с концами. Среди переведенных им в то время на чешский язык авторов — Рэй Брэдбери, Генри Джеймс, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Раймонд Чандлер и другие. В 60-х годах писатель активно работал и с ведущими чешскими кинематографистами «новой волны». Его совместный с Милошем Форманом («Пролетая над гнездом кукушки», «Волосы» и т. д.) сценарий «Джаз-банда победила» был лично запрещен

тогдашним президентом республики Антонином Новотным, поскольку основывался на рассказе Шкворецкого «Наш маленький джаз» («Eine kleine Jazzmusik»), вошедшем в книгу «Семисвечник» (1964) — повесть, составленную из историй об обычных жертвах холокоста. И этот рассказ постигла типичная для того времени судьба: он был запрещен за два года до этого вместе со всем первым номером «Джазового альманаха». Для завоевавшего «Оскар» Иржи Менцеля («Пристально отслеживаемые поезда», по роману Богумила Грабала) Йозеф Шкворецкий написал два сценария, ставшие популярными комедиями: «Преступление в женской школе» и «Преступление в ночном клубе», а для Эвальда Шорма — «Конец священника», представлявший Чехословакию на Каннском кинофестивале в 1969 году и прошедший по экранам США.

Несмотря на репрессии (а может, и благодаря им), время было довольно плодотворным: Шкворецкого и по сию пору почитают не только за романы и рассказы, но и за статьи и эссе о джазе, детективные повести и даже критическое исследование 1965 года о детективном жанре вообще. В Чехословакии Йозеф Шкворецкий получил две литературные премии: в 1965 году ежегодную

премию Союза писателей — за лучший перевод «Притчи» Уильяма Фолкнера в соавторстве с П. Л. Доружкой) и в 1967-м — ежегодную премию издательства Союза писателей за лучший роман «Конец нейлонового века», сначала запрещенный в 1956 году, но через одиннадцать лет после этого и через шестнадцать лет после написания увидевший свет.

После советского вторжения 1968 года Шкворецкий вместе с женой — писательницей, актрисой и певицей Зденой Саливаровой, известной по фильму «Партея и гости» и роману «Лето в Праге», эмигрировал в Канаду, где со временем стал профессором английского языка и кинематографии в Университете Торонто. За первые десять лет жизни в Канаде он написал и опубликовал больше художественных и документальных работ, чем за двадцать лет творческой жизни в Чехословакии. Вместе с женой в 1971 году они основали чешскоязычное издательство «68», опубликовавшее более 70 книг ведущих чешских писателей, как живущих в изгнании, так и оставшихся на родине: «Шутку» и «Прощальную вечеринку» Милана Кундеры, «Меморандум» Вацлава Гавела, «Подопытных свинок» Людвика Вакулика, «Бедного убийцу» и «Белую книгу»

Павла Когоута, «Победителей и побежденных» Геды Ковалевой и Эразима Когака и многие другие. Многие критики считают собственную книгу Шкворецкого «Бас-саксофон», выпущенную в те же годы, лучшим произведением о джазе всех времен и народов.

Уже в Канаде Шкворецкий получил стипендию Совета Старейшин по искусству для создания романа «Инженер человеческих душ». В 1975 году он избирается почетным членом американского Общества Марка Твена за роман «Прошлое мисс Сильвер». В июне 1978 года его радиопьеса «Новые мужчины и женщины» была номинирована как «Лучшая пьеса месяца» в Германии, а в 1980 году он получил Нойштадтскую международную премию по литературе. Тогда же писатель назначается стипендиатом Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма за начатый им роман о жизни Антонина Дворжака «Скерцо каприччиозо» («Влюбленный Дворжак»), законченный в 1982 году. «Танковый корпус» был экранизирован на родине писателя только в 1991 году.

В Чехословакии имя Шкворецкого, без преувеличения, известно каждому читающему человеку. Роман двадцатичетырехлетнего пи-

сателя «Трусы», несмотря на яростное давление властей, стал определенной вехой в чешской литературе, а сам автор, в особенности после второго его издания в 1963 году с нахальным предисловием — едва ли не самым популярным автором. Из-за чего же разгорелся тогда весь сыр-бор в стране, на которую в то время мыслящее население Советского Союза смотрело как на форпост свободной мысли и демократии в социалистическом лагере?

Книга послужила своего рода зеркалом, в которое официальной Чехословакии совсем не хотелось заглядывать. Постоянно всплывала на поверхность тема жалости к немцам, разбитым и деморализованным войной. Русские поражают главного героя своим очаровательным примитивизмом (именно определение «монголы» применительно к ним вызвало самый большой скандал в 1958 году). Роман получился антипартийным и богоборческим одновременно: все чувствовали себя объектами авторской сатиры. События разворачиваются в провинциальном богемском городишке в мае 1945 года: гитлеровцы отступают, Советская армия берет под контроль район, населенный в основном освобожденными военнопленными — англичанами, итальянцами,

французами, русскими («монголами», которых местное население считает не очень чистоплотными), еврейками — узницами концлагерей. Рассказчик, двадцатилетний Дэнни Смирицкий, выросший под сильным влиянием американского кино и музыки, и его друзья, музыканты джазового ансамбля, наблюдают весь этот поток власти, человеческой природы и смерти, бурлящий вокруг, все основные мысли и энергию отдавая женщинам и музыке. В романе нет героев по определению. Персонажи обнаруживают себя пленниками фарса, который в следующую минуту превращается в кошмар. Группа, может, и мечтает совершить что-нибудь героическое во имя своей страны, но получается у них только музыка. Попытки же провинциальных бюрократов стравить местных сторонников коммунизма с фашистскими оккупационными властями по большей части оканчиваются трагически. В целом же книга стала трогательным драматическим свидетельством глубокого социального напряжения, вызванного оккупацией Чехословакии советской армией. Джаз персонажей романа, подавлявшийся фашистами и окрещенный ими «жидонегроидной музыкой», тем не менее оставался политичен. Играть в то время блюз или

петь скэт означало, по сути дела, выступать за свою личную свободу и спонтанность самовыражения, за все, что ненавидели и старались сокрушить нацисты. Во время гитлеровского «протектората» сам Шкворецкий тоже играл джаз. Автор до сих пор считает свою музыку чем-то вроде кнута, шипа в боку всех жадных до власти сильных мира сего — от Гитлера до Брежнева. Будучи в высшей степени метафористом, Шкворецкий часто использует джаз в его хорошо знакомой исторической и интернациональной роли как символ и источник антиавторитарных умонастроений.

Мы вновь встречаемся с Дэнни Смирицким в «Танковом корпусе», «Игре в чудо», «Инженере человеческих душ: развлечении на старые темы жизни, женщин, судьбы, мечтаний, рабочего класса, тайных агентов, любви и смерти» и «Бас-саксофоне». Как в «Трусах» и эссе «Красная музыка», предварявшем издание «Бас-саксофона», в повести возникает атмосфера того смутного и унылого времени Второй мировой войны в Европе, когда совершалась странная метаморфоза корневой американской музыки, перенесенной на совершенно чужую почву. Хотя мемуары служат лишь предисловием к повести, читать их

едва ли не интереснее. В коротком, но страстном эссе Шкворецкий показывает, что, поскольку поклоннику джаза за «железным занавесом» приходится мириться с печалями, далекими от его собственных забот, музыка неизбежно несет для него не только ощущение оторванности и тоски, но и горько-практичное политическое неприятие окружающего. Вошедшая в то же издание «Легенда Эмёке» хрупка, лирична, «романтична» и, как и ее заглавный персонаж, почти сказочна. Именно из такого материала ткутся притчи. В поэтическом образе Эмёке, ранимого и нежного существа с широким диапазоном духовных исканий, вся история обретает душевную глубину неравнодушия. Вместе с тем некоторые критики считали, что ее образ недостаточно ярок и жизненен для того, чтобы нести на себе бремя того, что она должна была по замыслу представлять. Убедительнее выглядел другой персонаж — циничный и аморальный школьный учитель, символ типично «совковой» образованщины и двойного нравственного стандарта, так хорошо нам всем знакомого.

«Бас-саксофон» считается более удачной новеллой, вероятно, потому, что подлинная страсть Шкворецкого — музыка выступает лейтмоти-

вом повествования, мощной символической и идеологической силой, в то время как в «Эмёке» она не более чем подводное течение. История паренька, играющего джаз при гитлеровском режиме и мечтающего о настоящем бас-саксофоне в настоящем джазовом оркестре, — чистое волшебство, парабола, притча об искусстве и политике в той зоне, где они как-то уживаются вместе, а джаз в полной мере служит метафорой человеческой свободы и самореализации. Вся книга в целом стала пронзительным и освежающим явлением в чешской литературе XX века — в ней нет ничего, кроме труда воображения, и тем она восхитительна.

Последующее творчество Йозефа Шкворецкого продолжало отражать события его собственной жизни. Любитель джаза Дэнни Смирицкий постарел, эмигрировал в Канаду и устроился преподавать в маленький колледж Университета Торонто. В 1977 году выходит «Инженер человеческих душ» (так хорошо знакомый всем нам сталинский термин) — обширный, остроумный, однако фундаментально серьезный роман. Все прошлое Дэнни — все его столкновения с фашизмом в молодости, его романы и романчики, опыт общения с собратьями по эмиграции — и его

настоящая жизнь переплетаются в нелинейном повествовании, почти обескураживающем по богатству и насыщенности. Разнообразие повествовательной ткани сообщает «Инженеру» ту широту кругозора, которая намного превосходит тему книги, обозначенную в солидном подзаголовке. Автор касается и опасностей догматического мышления, и политической наивности Запада, и несправедливостей тоталитарных режимов. По охвату реалий и Запада, и Востока равных этой книге найдется немного. В полном, хоть и несколько старомодном смысле это «роман идей», но одновременно — и повесть жизни самого Шкворецкого (он сам говорил, что Дэнни — «фигура автобиографическая, смесь реального и желаемого»), и, по выражению канадского критика Д. Дж. Энрайта, «Библия изгнания».

Хотя цикл о Дэнни Смирицком, вероятно, приблизился с «Инженером человеческих душ» к концу, музыка по-прежнему звучит в следующем романе Шкворецкого «Влюбленный Дворжак». Беллетризованная биография композитора, посещавшего Нью-Йорк и испытавшего влияние негритянской народной музыки и джаза, дает автору повод поразмышлять о синтезе двух доминирующих музыкальных культур нашего

времени — классической европейской традиции и американского джаза. Хотя синтаксически озадаченные американские критики сочли, что повествовательная структура начальных глав «Дворжака» слишком сложна, чтобы ими можно было наслаждаться, но традиционный юмор автора в дальнейшем оживляет книгу, и в целом роман — достойная дань памяти Антонина Дворжака и праздник той музыки, дорогу которой он проложил.

Стиль прозы Шкворецкого, пишущего и на чешском, и на английском, поэтичен, и сюжет в ней часто играет меньшую роль, чем игра слов и образов. Его длинные периоды виснут и уходят в бесконечность, а огромные придаточные в скобках паровозами грохочут мимо. Язык его в высшей степени музыкален, одновременно напоминая фуги и сонаты — и бесконечные саксофонные импровизации свободного джаза. В нем — и ностальгия, и горечь писателя, оторванного от родной языковой среды чуждой тоталитарной силой. Проза Шкворецкого не потеряла своего блеска и свежести и сейчас. Сам он в предисловии к канадскому изданию «Бас-саксофона» писал: «Для меня литература постоянно трубит в рог, поет о молодости, когда молодость уже

безвозвратно ушла, поет о родном доме, когда в шизофрении времени вдруг оказываешься на земле, лежащей за океаном, на земле, где — как бы гостеприимна или дружелюбна она ни была — нет твоего сердца, поскольку ты приземлился на этих берегах слишком поздно».

М. Немцов